

АСКАД МУХТАР



Каракалпакская
повесть



Перевод Алексея Пантиелева



Перед рассветом разразился ураган, и казалось, что ночь затянулась... Небо из края в край заволокла непроницаемая, вихрящаяся пелена песка и пыли. Над берегами Муйтенкуля, над буйными зарослями камыша и осоки, катился тяжелый, слитный гул, точно от землетрясения. В этом гуле не было слышно ни рева быков на скотном дворе Алланбия, ни бойких, певучих го-



лосов девушек, толкущих сушеную рыбу, ни топота коней на пастбищах.

Камышовые ограды в ауле смелó. Сорванные с юрт кошмы и рыбацкие сети носились в воздухе. Верблюды с забитыми песком ушами и глазами, фыркая и плюясь песком, ошалело метались по степи, волоча за собой обломки арб.

Не раз обрушивался ураган на юрту Жапака, пытаясь сорвать ее и унести. Но она крепко держалась за землю — плетеная тесьма, спущенная с потолочной горловины, надежно привязана к жернову, который положен у очага. Все же ветер проник и сюда: пыль и песок, зола и копоть от давно потухшего костра туманом висели в юрте.

А Жапак, казалось, ничего не замечал. Он сидел неподвижно, уставив застывший взгляд в крошечный огонек площадки. В тусклом, дрожащем свете его широкие выпи-

рающие скулы, отливали чернотой, и вся его фигура, плечистая и статная, походила на чугунное изваяние.

Он не помнил, сколько просидел так, бесчувственный, оцепеневший. В эту ночь Жапак словно не жил, и кровь его стыла в жилах.

Внезапно он вскочил, припал ухом к степе юрты. Сквозь рев и вой урагана он ясно различил слабый шорох там, снаружи. Прислушался... Нет, померещилось. Руки его бессильно опустились, он снова сел на корзину с сушеной рыбой.

Ветер, ухнув, навалился на камышовую дверь, она закрипела. Из-за нее донесся слабый стон... Может, это шакал ищет крова в бурную ночь или ветер стонет в камышах, подобно шакалу? Жапак ждал много.

Развязав толстую бечеву, он осторожно приподнял дверь. Щеку, точно хлыстом, обожгла колючая струя песка. Щурясь, Жапак всмотрелся. Под камышовой оградой, опоясывавшей юрту, лежал человек. Он тихо стонал. Жапак бросился к нему, подхватил на руки и потащил в юрту, к очагу.

Человек нездешний. Невозможно было разглядеть лицо — так оно запылено. Лежа на кошме, возле арчевого сундука, он выставил вверх косматую, полную песка бороду, и ее трудно было отличить от кошмы. Только глаза с нездоровым, лихорадочным блеском молили: «Спасти... Погибаю...»

Жапак протянул касу из выдолбленной тыквы. Человек жадно припал к холодной воде иссеченными до крови губами. Потом прохрипел:

— Кунак... — И глаза его закатились.

Жапак присел на жернов и опять словно окаменел, будто забыв о неожиданном госте.

Ураган бушевал все сильнее. Юрта дрожала и гудела, и в ней, подобно плу во взбаламученной воде, оседали волны пыли. Потом с кошмы донесся слабый плеск воды. Гость ожил — он умывался одной рукой, лежа на боку. Рука его тряслась, подняться не доставало сил.

Видимо, он ждал расспросов: «Кто ты? Откуда?» Но Жапак молчал, опустив голову. Гость удивленно смотрел на него.

«Молод, здоров, силен... Что с ним?» Лицо обветрено до черноты, а губы по-мальчишески мягки. Обманчива его не-

подвижность. Казалось, молодость боролась с затаенной болью и не хотела поддаться.

Гость отвалился на спину; его начало знобить, застучали зубы. Жапак пододвинул плоску и увидел на страшном от худобы, серо-желтом лице человека крупные капли пота.

— Болеешь безгаком?

Человек с усилием разжал челюсти.

— Что такое безгак? Не все слова понимаю... Я русский.

— Рус?!

Жапак медленно приподнялся. Впервые его лицо оживлось. Он присел перед гостем на корточки и только теперь разглядел: борода и волосы на непокрытой голове русского седые... Старик? Непохоже — глаза и зубы молодые. Видно, и он хлебнул горя, бедняга, — больной, почти потерявший облик человека...

Гость первый спросил у Жапака:

— Что-то тебя мучит, друг? Какая у тебя кручина?

Жапак заботливо пригладил ладонью его растрепанные волосы, натянул ему на голову свой тельпек, отороченный мехом, пропахший рыбой. Долго молчал. Губы его дрожали.

— Я... я человека убил...

Русский привстал на локте.

— Ты?.. Скажи, что спас человека от верной смерти.

— Нет, убил, убил!

— Стало быть, плохой он человек.

Жапак отошел, качая головой.

— То-то и оно, что хороший...— И, тяжело опустившись на жернов, опять онемел и забылся.

Огонек плоски погас. В юрте было холодно, как в погребу. Но хозяин больше не зажигал плоски, не разводил огня в очаге.

А свирепый ветер ревел и ревел в камышах Муйтенкуля.

Буря стала утихать лишь к утру следующего дня.

Жапак задумал бежать на лодке в Машанские камыши. Но в юрте его оставался гость, больной, беспомощный. Глаза русского смотрели то с сочувствием, то с мольбой. Жапак не мог его покинуть. И вот наконец запылали в очаге кизяк и сухой камыш. Забулькала, закипая, вода в

черном, закопченном кумгане. И глаза гостя тоже слегка потешлели. Жапак положил перед ним лепешку, посыпанную толченой икрой, поставил рядом чашку с чаем, поперченным и забеленным верблюжьим молоком.

— Так-то, отец, — говорил Жапак, глядя, как гость, обжигаясь и покряхтывая, пьет чай. — В ответе я перед родом киятов за смерть Эльгельды. Ты не утешай меня. Никогда не бывало, чтобы у нас отрекались от кровной земли. Этот обычай называется хун, — он в наших краях исстари, от отцов и дедов. Я сам из рода муйтен. И уж моему бедному роду горше всех достается: за пощечину расплачиваемся лютой смертью. И мы и кияты одного племени кунграт, но кияты — сыновья, а мы — вроде бы пасынки. От киятов милости не жди. Ни за что не простят нам хуна!

— Постой! Если и вы и они одного племени, чем же вы хуже их?

— А тем, что мы муйтены, а они кияты... Говорят, наш род произошел от человека, которого когда-то подобрала в степи, приютила одна добрая женщина Акчулпан. Он был еще ребенком, сиротой, без имени, без рода. Спроси, кто наш отец, — мы и не знаем. Над нами смеются, дразнят нас: будто мы ведем свой род от зверя, обросшего шерстью, из страны лесов...

— Ох, страсть какая! — проговорил русский, с трудом улыбнувшись.

— Зря ты шутишь. Я кията убил. Кровь Эльгельды лежит на мне. Не сегодня — так завтра придут они по мою голову. От хуна никуда не уйти. — И Жапак дернул ворот своей рубахи из грубого серого полотна.

В очаге потрескивал кизяк. Сгорая, сворачивались в кольца сухие камышинки. Маленький коврик, висевший на стенке юрты, некогда красный, а теперь прокопченный насквозь, хлопнул под порывом ветра. Вдруг из-за спины Жапака, из-под старой кошмы, едва различимой в полутьме, послышался горячий шепот:

— Буря... эй, буря, унесись к плешивому! Ветер, эй, ветер... унесись к плешивому!

Гость невольно вздрогнул — в юрте была еще одна живая душа. Голос не мужской, хотя и хрипловатый, простуженный... Казалось, и Жапака напугал этот голос.

— Помолчи, Гульзира! — прошептал он, не оборачиваясь. И добавил вполголоса: — Сиротка несчастная. Дочка моего старшего брата. Никого у нее, кроме меня... Лет

десять назад с ее отцом рассчитались кияты. Привязали к арбе и забили до смерти. Тоже хун! Вот как у нас, отец.

Гость присмотрелся: девочка была плотно завернута в кошму от затылка до пяток, только прядь волос торчала паружу.

— Зачем она так лежит?

— Не видишь разве? Безгаком болеет, вроде тебя...

Русский стал рыться в своих лохмотьях. Долго ворочался, искал что-то и совсем пзнемог, захрипел, закатывая глаза.

— Послушай-ка, а среди киятов должны быть и хорошие люди? Неужели нет таких?

Жапак тяжело вздохнул.

— Есть... Есть у киятов девушка, красивая, как тюльпан, смелая, как джигит, и поумнее иного мужчицы! Зовут ее Сулув...

— Вот как! Полюбилась она тебе?

— Не будь ее, разве я побоялся бы смерти? Разве я дрожал бы сейчас, как баба? Сам бы пошел к киятам и подставил бы голову, клянусь!

— погоди, дурень, не спеши помирать-то... Тебе ли думать о смерти? Видать, что и девушке этой ты по душе!

— Сулув должна собственной рукой прикончить меня. Она сама приведет сюда мужчии своего аула и покажет им: «Вот он!» Эльгельды, убитый, был ее отцом...

Русский насупился, кусая пересохшие, потрескавшиеся губы. Жапак больше не слышал его вопросов. Сидел, сгорбясь над гаснущим очагом, и красные блики ползли по его отливающим чернотой скулам.

Очнулся он, почувствовав на своей руке пышущую лихорадочным жаром руку гостя. Тот слабо совал Жапаку в ладонь что-то завернутое в клочок шершавой бумаги.

— Ну-ка, браток, не дури... Шевелись давай! Вели вот это проглотить Гульзире.

— Что это?

— Лекарство от безгака. Хинни.

Жапак с интересом и сомнением покосился на русского.

— Что же ты сам не вылечился, если у тебя такое лекарство?

— Меня, дорогой, могила излечит. Немало я его глотал. Весь пожелтел, видишь. Не берет... А девочке он поможет. Дай ей, не бойся...

Девочка с узенькими блестящими глазенками, со сбитыми колтуном, нематыми волосами, дрожа, вылезла из свергнутой трубочкой кошмы. Проглотив порошок, она даже не почувствовала его горечи и снова страстно зашептала:

— Буря, буря, унесись к плешивому!

— О чем это она?

— У нас верят, что ветер приносит безгак. Она, глупая, и заклинает его. А меня он только и спасает... Знаешь ты, что такое уран? Боевой клчч. Утихнет буря — сам услышишь над моей юртой уран киятов. Тогда поймешь...

Русский развел руками.

— Одного не пойму: как у тебя поднялась рука на того человека? Или дочка-то не в отца?

— Я себя не помнил...

— Чего же вы не поделили, сыны и пасынки?

— Посуди сам. Мы, муйтены, рыбаки. Аул наш беднее бедного, но мы не идем, как кияты, в кабалу к Алланбию. Рыбак, будь он самым распоследним бедняком, не продаст свою волю. Опухнет от голода, а не согнется! Правда, улов мы относим Алланбию — рыбу он скупает. Но потом опять уходим на озеро и плывем по волнам Муйтенкуля, куда хотим и сколько нам вздумается. Мы сами себе хозяева. А кияты что! Один сушит рыбу у Алланбия, другой гнет спину на байской маслобойне, третий — пастух у него, четвертый — издольщик, пятый — поденщик, а шестой — вовсе калымщик, женился за счет бия и по гроб жизни его должник, сказать попросту — раб. Если подумать, так кияты куда беднее нас. Потому-то нам и обидно, что они кичатся перед нами...

Русский неодобрительно покачал головой, но Жапак понял его по-своему.

— Было это как раз перед бурей. Развесили мы на берегу наши сети сушить, а кияты взяли и погнали стадо Алланбия прямо на это место и порвали сети в клочья! Прибегаю я к озеру, вижу — невод наш изодран копытами, верши волокутся у скотины на ногах, плавают в воде... Разор полный! Если, друг, мы не наловим наваги в пути-ну, перемерем с голода. Гнев охватил нас. Стоим, смотрим. А пастухи Алланбия ведут стадо обратно. Кто-то из нас крикнул: «Эй, кияты, неужто вам мало места у озера для водопоя?» Они только посмеиваются, будто не понимают нас. Стадо опять пошло топтать, рвать сети. И тут началось. Крик, ругань, драка. Скотина ревет, бодается. Пыль встала столбом на берегу — не разглядишь, кто кого... Су-

нул мне кто-то в лицо ком мокрой сети. Не удержался я, размахнулся своей остройгой...— Жапак поперхнулся, перевел дух.— А там поднялся ураган. Люди кинулись кто куда. Слышу, вопят: «Убили, убили!» А утром узнали мы — напоролся на мою острогу Эльгельды — кият... Скажи, отец, что мне теперь делать?

Гость странно усмехнулся. Спросил неожиданно:

— Ты почему меня называешь все время отцом?

— Да ведь ты седой, белобородый.

— Что? Я?! — вскричал русский испуганно.

Трясущимися руками он схватил посудину из выдолбленной тыквы, полную воды, с трудом подполз к огню, всмотрелся в воду. И ахнул негромко. Вода заплескалась; Жапак взял из его горячих рук посудину, отставил в сторону. Подошла Гульзира, завернутая в кошму,— и она тоже почувствовала неладное.

Русский долго не мог отдышаться, унять стук зубов. Потом улыбнулся, приветливо и жалобно.

— Вот что, с-сын-нок, ежели я не помру, то мне исполнится от роду... тридцать годков!

«МЕНЯ ПРИНЕСЛО БУРЕЙ»

Степан Силаев родился и вырос в кара-ногайском ауле Теракли-Мечеть. В начале двадцатого года в этом маленьком, заброшенном ауле Дагестана была учинена дикая расправа. По велению имама Гоцинского, святейшего палача, в одну ночь бандиты вырезали одиннадцать русских семей, проживавших в ауле. Среди погибших был и отец Степана, старый рыбак Илья Силаев. Сам Степан уцелел случайно. Он бежал в порт Петровск. Вскоре городской комитет партии большевиков принял рыбацкого сына в партию. Сил тогда было мало, партийцы — наперечет. Пришлось молодому Силаеву на первых же порах брать на себя трудные и опасные поручения, работать почти самостоятельно. Благо парень был смекалистый, не робкого десятка, несмотря на все, что ему довелось пережить.

— Пойдешь на «Комету», — сказали однажды Степану в комитете. — И держи ухо востро, не зевай.

«Кометой» назывался небольшой грузо-пассажирский пароход, попавший в руки белых. На нем были две команды — матросская и солдатская. Степану удалось довольно легко устроиться на «Комету» матросом — он выдал себя

за анархиста. Труднее было здесь удержаться. Хозяйничали на пароходе пьяные офицеры. Пьянствовали они непробудно, на пристанях водили в кают-компанию женщин, разодетых, раскрашенных, визгливых. Офицеры избивали грузчиков, при малейшей оплошности грозили расстрелом матросам и даже самому капитану, приставив к его носу пистолет.

Матросы держались недружно, каждый сам по себе. Мечтали об одном — при случае выпить. Долго не удавалось Степану с кем-либо сблизиться на «Комете». Один матрос казался смелее и разумнее других. Степан попытался вызвать его на откровенность. Матрос выкрал из кают-компании спирт — дело отчаянное. Степан застал его ночью в трюме сосущим из горлышка. Матрос поднес Степану обжигающего зелья, предупредил:

— Проболтаешься спьяну — обоим хана!

— Из каких краев, браток?

— Если память мне не изменяет, из разнесчастной России.

— Сам из крестьян будешь?

— Был... в нежной своей юности. А тебе что?

— Много ли у батьки твоего земли?

— У нас у обоих по три с половиной аршина законных!

— Этого добра и у меня с лихвой. Обеспечены... Ты какой власти держишься?

Матрос отодвинулся от Степана, циркнул сквозь зубы слюной.

— Я сам себе... верховная власть!

Повернулся и ушел.

В следующую же ночь на «Комете» начался аврал. Старший из офицеров, тощий как жердь, непривычно трезвый, ходил по палубе с револьвером в руке, лаялся до хрипоты, то пиная грузчиков, то тыча в грудь дулом револьвера. Грузчики, приседая, бегом таскали с пристани, вдоль длинной цепи солдат, ящики из свежего теса, аккурратно обшитые жестяной лентой.

Степан сразу сообразил: это оружие. Связаться с комитетом он не мог: команду не пускали на берег. «Комета» спешно разводила пары. На борту ни одного человека, которому можно было бы довериться. Вот когда ощутил Степан всю свою неопытность и... решимость. Он здесь один, но он большевик и выполнит свой долг. А долг свой Степан понимал так: утопить оружие.

Еще не рассвело, когда «Комета» легла на курс. А на заре к Степану подошел военный фельдшер, которого он не встречал прежде на «Комете», и усталился Степану в переносицу строгим взглядом.

— Болен? Лихорадит?

— Н-никак нет...

— Врешь! Начальство не обманешь. Как фамилия?

— Силаев.

— Ступай за мной.

Фельдшер выслушал у Степана пульс и приказал ему принять двойную дозу хинина. Степан было заартачился. Фельдшер шепнул:

— Пароход идет на Бекдаш...— И крикнул начальственно: — А сердце у тебя крепкое, мол-лодец!

Степан растерялся от неожиданности. «Неужто свой?» Сердце его забилося, как колокол. «А вдруг провокатор? Выпытывает... Поймает на слове — к стенке и за борт!» Как-то не вяжется: фельдшер — и большевик...

Между тем в кают-компании уже шла пьянка. А из рулевой рубки доносилась приглушенная брань старшего офицера:

— Молчать, сволочь, шляпа! Не только в Кара-Бугаз — в утробу к самому дьяволу поведешь свою посудину... Это личный приказ атамана, и не рассуждать у меня! Джунайдхан встретит нас на том берегу, повезешь обратно контрабанду, разбогатеешь за один рейс, рыло, бабья твоя душа!..

Степан ясно представил себе, как офицер помахивал у носа капитана маузером. Тщетно старик капитан бормотал в ответ, что «Комета» дряхла, как он, а в Кара-Бугазе свирепые штормы. Офицер не слушал.

Взгляды фельдшера и Степана встретились.

— Не доверяешь? Хорошо! — сказал фельдшер. — Однако некогда. Дело не терпит.

— Атаман... это кто же?

— Дутов, конечно.

— А Джунайдхан?

— Шакал из каракалпакских степей. Оружие — ему...

Степан опасливо оглянулся.

— На борту есть еще... больные?

— Тебе лучше знать.

Степан промолчал виновато. Но фельдшер не стал его упрекать.

— Если понадобится, придешь ко мне за хинином. Ка-

питан трусоват весьма. Начнем с него. Правда, это затея шаткая... Иди!

В середине дня, идя в свою каюту слегка передохнуть, капитан подобрал у дверей записку:

«Господин капитан, если пароход не собьется с курса на Бекдаш, получишь в затылок пулю.

Комитет».

Капитан тотчас же вернулся в рубку и не выходил из нее до поздней ночи. Все это время «Комета» шаталась по Каспию, точно без компаса, следуя необычайному, зигзагообразному курсу. Остаток ночи капитан провел без сна, запершись в каюте. А утром не выдержал, понес записку в кают-компанию.

Офицер приказал построить обе команды — матросов и солдат — друг против друга. И пошел меж двух шеренг на неверных ногах, бледный до синевы, размахивая пистолетом, суя в лица матросам записку.

— Расстр-реляю сукиных сынов! Я из вас выбью большевистскую заразу! Даю три минуты на размышление: если не выдадите зачипщика, разменяю каждого четвертого...

Матросы молчали. Офицер вынул золотые карманные часы, щелкнул крышкой, некоторое время смотрел на циферблат мутными, сумасшедшими глазами и скомандовал:

— На первый-четвертый рассчитайсь! Четвертые, шаг вперед!

Подошел фельдшер.

— Ваше благородие, половина команды болеет малярией. Кто поведет пароход?

— Уйди прочь, клистирная трубка!

Тогда матрос, стоявший на правом фланге, тот самый, с которым Степан пил в трюме спирт, спросил:

— А дозволейте узнать: что там хоть написано, в той бумаге?

Золотопогонник тут же выстрелил в него дважды, но промахнулся. Капитан схватил офицера за руку.

— Что вы делаете?! Мы погубим сами себя. Опомнитесь! Распустите команду. Завтра мы будем в Бекдаше, я отвечаю!

Офицер как будто пришел в себя, положил оружие в кобуру, расслабленно махнул рукой.

— Разойдись... Удвоить караулы!

День прошел в затаенном напряжении. На море было безветренно, душно. Но с востока, со стороны Кара-Бугаза катилась округлая, тяжелая волна — мертвая зыбь. Старая «Комета» сотрясалась от бака до кормы, с трудом забиралась на волну, зарываясь в нее низким носом. «Не идет, пашет...» — шептал капитан. А валы становились все крупнее, и на их свинцовых горбах зловеще горела багровая вечерняя заря.

В эти часы даже в кают-компании притихли. Все ждали чего-то... И дождалось.

Ночью по палубе прокатился панический топот.

— Братцы! Полундра! Тонем... Кингстоны открыты...

Зыбь заметно уменьшилась, но «Комета» погрузилась в воду едва ли не по фальшборт. Нос задрался, корма осела. Судно не слушалось руля.

Старший офицер, выбежав из кают-компании, мгновенно протрезвел. Но когда он опять поднес свой маузер к глазам капитана, старик сказал:

— Теперь мне ничего не страшно. Вы своего добились. Через несколько минут или несколько часов нас развернет бортом к волне, и мы пойдем ко дну! Что же, командуйте, стреляйте...

Общий крик пронесся по палубе. Матросы и солдаты смешались и тесной толпой окружили старого моряка.

— Ты капитан! Говори, что делать!

— Во-первых, чтоб мне не угрожали...

— Не бойся! Не тронет! Не дадим!

— Тогда слушать меня. Кингстоны удалось заткнуть. Но нам не откачаться. В кубрике вода. Захлебываемся. Выход один — груз за борт!

Капитан, а за ним обе команды повернулись к офицерам. Но те не осмелились вымолвить ни слова. Им разрешили уйти в кают-компанию. Больше они не показывались на палубе.

И вот аккуратные ящики, обшитые жестяной лентой, полетели в воду. И солдаты и матросы работали не за страх, а за совесть. Степан и фельдшер в четыре руки, молча, лихорадочно выбрасывали ящики за борт — им не успевали подносить. Не оставили в трюмах ни одного, хотя судно давно уже поднялось, выровнялось и ускорило ход.

На следующий день «Комета» медленно, без единого гудка, вошла в мертвые воды Кара-Бугаза. У Черного острова ее ждал караван благороднейшего Джунаидхана.

Встретили ее дружным ружейным салютом. Но с «Кометы» не отвечали.

Небольшой початый ящик револьверных патронов уцелел в кают-компани. Его и сгрузили на берег.

Начальник каравана в помудском колпаке, с алжирской саблей на боку подскочил к русским офицерам, тряся кулаками. Люди его свиты схватились за сабли. Солдаты-дутовцы в свою очередь выставили вперед штыки. Началась перебранка.

В суматохе Степан и фельдшер бежали в степь и укрылись в барханах. Но им удалось захватить с собой лишь немного воды и еды. Выходить на большую караванную дорогу они опасались. И вскоре совсем обессилели.

Сильно дул гармсилъ — обжигающий ветер с душным запахом серы. У фельдшера распух язык, его тошнило. Потом отнялись ноги, его стало рвать с кровью. В последние его минуты Степан не мог даже смочить ему губы хотя бы несколькими каплями воды.

— Вот все, что осталось от фельдшера, — сказал Степан, показывая Жапаку истертый полотняный мешочек с порошками хинина.

— Ты... прошел Усть-Урт?! — изумленно проговорил Жапак, касаясь мешочка, точно живого существа.

— Пришлось мне поскитаться по этой проклятой пустыне... Иной раз думал: хоть бы помереть! Сперва посчастливилось: пристал я к заблудившемуся каравану, месяца полтора таскался вместе с ним. А после того, не помню уж сколько, провалился ни живой, ни мертвый в шалаше одного старика туркмена — он сторожил колодец у Барса-Кельмеса. Наверно, пропах я хинином насквозь: помню, лежал при последнем издыхании в песках, подошел шакал, понюхал и отошел, не тронул! В твою юрту меня занесло бурей...

Тихонько подошла Гульзира и тоже коснулась мешочка с хинином. Ей стало легче после порошка, озноб прекратился, и она смотрела на мешочек, точно зачарованная. Степан привлек ее к себе, погладил дрожащей рукой растрепанную головку.

— Тебя-то я вылечу... И сам поправлюсь, а потом пойду искать свою юрту...

— Оставил бы мне одну штучку своего лекарства... я бы дала своей подружке... — проговорила Гульзира не детски озабоченно.

Степан задумался, спросил Жапака:

— Многие болеют в ауле?

— Нас, рыбаков, безгак не трогает. А для киятов, которые живут возле стоячего озера, безгак — беда, горе... Не болеют, мрут!

УРАН...

Над берегами Муйтенкуля установилась наконец тишина. Посреди полного безмолвия с озера явственно допелся хохот чайки. Улеглась волна, выпрямился камыш, осели облака пыли. А в юрте Жапак стало еще тревожнее. Жапак знал — кияты уже собрались, они наготове.

И в самом деле, затишье длилось недолго. Невдалеке вдруг послышался нарастающий топот копыт, неистовые крики. Не выходя из юрты, можно было понять, что на аул несется дикая толпа. Трещали плетенные из хвороста ограды, вновь вздымалась колючая пыль.

— Орухон! Орухон! — многогласно вопила толпа.

— Слышишь?.. Они! Это их клич, — проговорил Жапак, побледнев.

Не прошло и минуты, как другой вал топота и криков, все усиливаясь, покатился навстречу первому.

— Акчулпан! Акчулпан! — Это шли муйтены, ободряя и горяча себя своим ураном.

Две толпы, два рода, сошлись лицом к лицу у юрты Жапак. Слепленные безумной ненавистью, они, казалось, хотели перекричать друг друга, утратить свирепой решимостью пролить человеческую кровь.

Один визгливый голос, похожий на женский, выделялся среди общего гвалта:

— Весь ваш замызганный род втопчу в землю! Плати полный хун за Эльгельды! Где Жапак? Выдавай убийцу!

— Кто это разоряется? — спросил Степан.

— Палмантаз, плешивый, старшина киятов...

Только теперь понял Степан по-настоящему, в какой опасности его новый друг. Прежде не верилось, что этакое возможно... Как же быть? Как выручить его?

— Ты увези Гульзиру в свою страну, кунак, — сказал Жапак, прижимая к себе девочку, дрожащую всем телом. — Не отдавай ее никому, не бросай... Эх, не успел я с тобой подружиться толком! Ну, я пойду...

— Ты куда?

— Если я сейчас к ним не выйду, перебьют друг дружку. Столько голов проломают, кишок повывусят!..

И, оторвав от себя девочку, Жапак пошел из юрты.

Гульзира молча кинулась на грудь Степану, схватила его за руку и с недетской силой потащила за Жапаком.

Перед юртой нависла такая густая пыль, что нелегко было в ней что-либо разобрать. Жапак стоял, низко опустив голову, меж двух разъяренных толп — киятов и муйтенов. Когда он появился, шум стал стихать, дубинки опустились.

К Жапаку подошел низкорослый человек с дубинкой в руке, с веревкой за поясом. Нижняя часть его лица была прикрыта до ушей ярко-красной повязкой. Это тоже для устрашения, вид лихости...

— Или ты заплатишь нам за смерть Эльгельды... — сказал он задиристым бабьим голоском, — или... — Палмантаз бросил к ногам Жапака конец веревки, свитой из козьей шерсти.

Со стороны киятов тотчас посыпались насмешки:

— Чем он тебе заплатит? Нищий муйтен... Рыбьей чешуей, что ли? Хватай его, привязывай к арбе!

Закричали и муйтены, потрясая острогами:

— Сами вы попрошайки, голодранцы! А вы нам за сети чем заплатите?

Палмантаз перекричал всех:

— Чести не знаете, муйтены! Путаете дело с безделицей! Или забыли, что такое хун? Пускай Жапак сам скажет. Ты убил Эльгельды?

— Я, — ответил Жапак.

— Будешь платить хун?

Жапак молчал. Он был гол как сокол. Все его достоиние — его жизнь.

— Стойте, други дорогие! — выступил вперед Степан.

Тишина. Гомон удивления. Кто этот изможденный, оборванный, никому не знакомый человек? С первого взгляда видно — замучен безгаком...

— Я издалека, гость в ваших краях. Зовут меня Степаном Силаевым.

— Рус...

— Рус?

— Рус!

Это слово прозвучало по-разному: у одних — с недоверием, у других — с интересом, у третьих — с откровенной неприязнью.

— Братцы... Все вы, как я погляжу, ровни. И те и

другие бедняки. С чего враждуете меж собой? Иной у вас враг, общий...

— А ты кто такой — нас учить?! — закричал Палмантаз. — Что ты понимаешь в наших делах!

И обе стороны вновь зашумели. Вмешательство чужака, русского, никому не поправилось.

Степан видел — озверели люди, речами их сейчас не уймешь, не помирить.

— Слушайте! — сказал он, подходя к Жапаку и заслоняя его собой. — Есть у моего друга выкуп! Богатый! Такого, пожалуй, не сыщешь у самого Алланбиа. Это за деньги не купишь, такой выкуп золота дороже...

Кинь собаке, бросившейся на тебя, кусок мяса — она и лаять перестанет. Запльвившие глазки Палмантаза загорелись жадным огоньком. Он почесал свою бороду под красной повязкой.

— Что такое?

Степан отстранил его слабой рукой.

— Я слышал, страдаете вы от безгака. Правда ли это?

— То-то что правда! Гибнем от него, — ответил рослый старик из толпы киятов.

— А у Жапака есть лекарство. Как рукой снимает... Сто человек может исцелить, спасти от смерти!

Кияты заволновались. Толкая друг друга, стали тесниться поближе к Степану.

— Какое лекарство?

— Где взял?

— Покажи!

Плешивый Палмантаз замахнулся дубинкой на своих.

— Куда полезли? Развесили уши! Врет он...

Но с плешивым заспорили:

— Пусть покажет! Сам посмотрим. А если обманет, не жалуйся...

Палмантаз рассмеялся.

— Что ж вы, не видите? Хитрят! Будь у руса такое лекарство, себя бы давно исцелил... Гляньте — весь желтый, едва стоит на ногах. — Палмантаз ткнул Степана пальцем в грудь, тот пошатнулся. — Ты нам зубы не заговаривай, пришелец! Не суйся в чужие дела!

— А ты не пугай, не так пугали.

— Свяжем обоих, если вы заодно!

— Вяжите, если вы не люди! Валяйте, мудрецы...

Снова поднялся гвалт. Особенно усердствовал Палмантаз. Но пока Степан стоял рядом, Жапака не трогали.

Драка началась с краю — там уже толкали друг друга в грудь, вздымались на дыбы испуганные кони. И все же недавний дикий запал иссяк.

Неожиданно люди стали расступаться, давая дорогу высокому джигиту в дорогой шапке, отороченной пушистым мехом.

— Дети кунграта, каракалпаки, мусульмане! — напыщенно произнес джигит, поднимая руки к небу. — Мы все сыны одного племени, все братья по вере. Бог нас рассудит...

— Предки велют карать за убитого, — возразил было Палмантаз.

— Утешьтесь — Эльгельды жив.

— Жив? Где же он?

— Милостью Алланбиа бедный наш Эльгельды отправлен в Турткуль, в больницу. Кончим семейные споры. Разойдемся с миром по своим домам... Так будет благороднее, братья соотечественники!

Видимо, к этому голосу привыкли прислушиваться. Опустив головы, поругиваясь сквозь зубы, люди стали расходиться. Кияты повернули коней к своему аулу.

— Братец Эримбет, что-то я не понимаю тебя... — негромко заметил Палмантаз джигиту, снимая с лица красную повязку.

Эримбет взглядом указал на Степана, шепнул, кривя губы:

— Вон бы кого надо... Тратишь силы впустую, старшина!

Степан толкнул Жапака локтем в бок.

— Кто этот человек? Речи сладкие, поповские, а смотрит волком...

Жапак не отвечал. Он был не в себе. Степан повел его в юрту.

Дернул за тесьму — открылось потолочное отверстие, в юрте стало светлей, а на душе как будто покойнее.

— Ну, можешь теперь не горевать, твой будущий тесть живой! Не судьба тебе стать убийцей.

Гульзира поднесла Жапаку чашку с айраном. Тот судорожно глотнул раз-другой, сказал глухо:

— Теперь он сам сквитается со мной. Будет ходить тенью по моим следам. Все равно нет мне жизни.

— Не каркай, ворона! Гляди веселей!

Приподнялась камышовая дверь, в юрту протиснулся

человек. Степан тотчас шагнул к двери, заслоня собой друга. «Опять?»

— Уббинияз... Кият...— прошептал Жапак.

— Тебе что, браток? — спросил Степан, хмурясь.

Уббинияз вошел в юрту. Это был рослый, важный старик в овечьей папахе и в широком халате, похожем на робу. У него была борода, расширившаяся книзу,— такую называют «турва-сакал».

— Иной раз любопытней узнать имя одного человека, чем родословную тысячи других,— степенно сказал старик.— Будем знакомы.

— Салям... Заходите!

Старик кивнул кому-то через плечо, и вслед за ним в юрту проскользнул молодой человек, сильно хромавший на правую ногу.

— А ты по правде русский, сын мой?

— Слава аллаху, знаю отчасти и мусульманскую веру.

— Вон оно что... Понравился ты мне. Давеча ты обмолвился про лекарство против безгака.— Старик опасливо оглянулся.— А у меня четверо детей, почитай полгода горят в страшном огне. И у этого парня жена молодая... гаснет, как уголек...

Хромой молча закивал головой, просительно глядя на Степана.

Степан крикнул весело.

— А ну, садитесь, гости дорогие! Я, видишь ли, не против, отец. По мне — лечить надо. Да только лекарству этому хозяин Жапак! А он, оказывается, вам кровный враг...

Старик горестно вздохнул.

— Что поделаешь, сынок, у нашего народа такой уж обычай...

— Я народ уважаю,— сказал Степан.— Однако обычай обычаю рознь! Самы вы друг дружку не уважаете... это за чем же?

Хромой, с мольбой глядевший то на старика, то на Степана, затряс головой, потянулся к Степану.

— Это все тот, плешивый. Собрал самых безмозглых из нашего аула и привел сюда.

— Палмантаз ловок,— добавил старик.— По горам скачет козой, по болоту ползет змеей. Да разве он причина? Ты скажи, чей он лизоблюд, кто над ним голова!

— А ведь и вы пошли за Палмантазом,— заметил Степан.

— На общем току, сынок, и ветер общий: в одну сторону веет, в одну метет...

Степан усмехнулся.

— И вы работаете на Алланбия?

— Приходится. Вожу из Караумбета соль, размалываю на мельнице. Солим рыбу в байском чулане. У мусульман отродясь не бывало чуланов, а вот Алланбий завел, разбогатевши...

— Что же у тебя общего-то с баем, отец?

— Кормит нас,— уклончиво ответил Уббинияз.— Грех мужчине жаловаться на свою судьбу. А придешь домой, глянешь: у старшей дочки — беззак, зуб на зуб не попадает, а младшенькая — кожа да кости. Без слез не могу смотреть на них... Бог возместит тебе! Сделай благое дело, дай нам лекарство, братец.

Степан кивнул Жапаку, и тот, достав из заветного мешочка несколько порошков, протянул их Уббиниязу и хромоту. Старик принял их обеими руками, беззвучно шепча благодарственную молитву, а хромой вскочил и согнулся в низком поклоне, точно получал невесть какую милостыню. Парень заплакал от радости.

— Ну, ну, видим, любишь свою женку! — сказал Степан.

— Дорого она ему досталась. Алланбий его женил... — невесело проговорил Уббинияз.— Когда-то он сумеет выплатить калым!

— Слушай-ка, а кто такой тот человек, который вас под конец утихомирил? По шапке — бай, по речам — мулла...

— Кто его знает! — ответил Уббинияз.— Говорит складно, а что у него в душе, нам неизвестно.

— Не любит он русских... — тихо добавил хромой.— Это племянник Алланбия, любимчик...

Уббинияз прервал его сердитым жестом.

— Я скажу правду: честный каракалпак никогда не подумает худо про русских, сын мой! Когда хан Хивинский объявил награду в тысячу золотых за голову каждого руса, мы утопили все пушки Отахана-тёре в болоте. Был у нас такой год — великого голода. Мы его назвали Годом Белого Мешка. Спросишь почему? А потому, что в тот самый год русские прислали нам целый пароход, нагруженный белыми мешками с мукой! Роздали ящики с чаем. А когда мы поднесли им в благодарность коровье

масло, они не захотели принять его даром. Те русские, на пароходе, были похожи на тебя.

— Похожи, говоришь? А вы не слыхали тут про большевиков?

— Как же! Говорят,— худые люди...

Уббинияз, а за ним и хромой поднялись с мест. Они хотели поскорей отнести лекарство домой больным и просили это позволить. Жапак вынул из мешочка еще несколько порошков и сунул в руку старику.

— Отец Уббинияз, возьми, пусть исцелит твоих соседей!

Старик и хромой молча поклонились.

Проводив их до двери, Степан с улыбкой хлопнул Жапака по плечу.

— Видать, и среди киятов больше хороших людей, чем ты думал!

Жапак ответил не сразу, точно против собственного желания:

— В молодости Уббинияз охотился на барсов. Знаменитый был батыр. И певец. Когда девятилетний бахши Утар-бобо, по велению Юлбузара, муфтия Хорезмского, был объявлен вероотступником, Уббинияз первый подхватил его песни и распевал их повсюду, никого не боясь. Баи ненавидели его за это, травили много лет... А того, хромого, зовут Каипназар. Он солил рыбу у купца в Муйнаке. Поднял девятипудовую бочку и не удержал, уронил себе на ногу... Теперь таскает бочки у Алланбиа.

Степан сидел в глубокой задумчивости, и Жапак встревожился, подсел к нему.

— Ты... думаешь о дороге, да? Если ты уедешь, что со мной будет, брат?

Неслышно подошла и Гульзира, молча забралась на колени к Степану и уставилась ему в глаза вопрошающим взглядом.

— Что вы! Не то у меня в голове,— пробормотал Степан, растроганный и смущенный.

«ЗА МНОЙ НЕТ ВПНЫ»

Вольной птицей росла Сулув на степных просторах Усть-Урта, на горных лугах Улутау.

Бывало, что Эльгельды, табунщик Алланбиа, годами не возвращался в аул, не приближался к людскому жилью.

Бродил и бродил с табуном полудиких коней с пастбища на пастбище, по безлюдным местам, усадив позади себя, на спину коня, маленькую Сулув. Со временем она стала надежной помощницей отцу, и он посадил ее на лучшего скакуна в табуне. Девушка была ловка, вынослива и смела, как джигит. Не боялась ни холода, ни голода, ни вьюги, ни волка. Спала на земле, ела мало, могла обуздать любого коня, слышала и видела так же чутко и зорко, как ее кони. А годам к шестнадцати Сулув неожиданно так похорошела, что Эльгельды возгордился: его дочь оправдывала свое имя — Прекрасная. Табунщик не видел ей равной в аулах.

Теперь он старался еще реже бывать в селениях. На людях душа его была беспокойна — уж больно засматривались мужчины на дочку. Боялся — засватают, обманут, умыкнут...

Сулув, напротив, стремилась к людям всей душой. Стремилась потому, что не знала их...

С детства по ночам, у непотухающего костра, девушка слышала старинные сказания — дастаны — и печальные песни; их играл отец на кобузе. Песни и дастаны уносили Сулув в далекую, необыкновенную страну сказок. Эта страна манила мечтательную девочку. Ей думалось, что в аулах должны жить, как в дастанах. Что это за славная жизнь! Она полна любви и преданности, битв и богатырских подвигов.

Иной раз Эльгельды казалось, что в его дочку вселился дух Гулоим — девы-ратницы, которая некогда собрала сорок себе подобных длинноносых всадниц и обороняла с ними крепость от кочевников. Тем большее разочарование пережила Сулув, когда столкнулась с уродствами аульской жизни. Никогда не забыть ей недоумения и отвращения, которые она испытала, увидев впервые, как рабоблепствуют люди перед бесчестным и безобразным Алланбием. Никогда не забудет и Эльгельды гнева, который охватил Сулув, когда она поняла, что Алланбий всю жизнь обкрадывал ее отца, а отец считал это справедливым!

Трудно было Сулув привыкнуть к аульным порядкам. Втайне она восхищалась муйтенами — они жили вольнее, чем князья. Недолюбливали в ауле и Сулув — за дерзость, независимость и ту завидную власть над мужчинами, которой обладала ее дикая красота. Казалось, волны степного ветра застыли в ее волосах. А глаза, привыкшие

всматриваться в степные дали, словно бы навек прищуренные, блестели в узком разрезе век, подобно черным звездам.

Сулув собиралась с отцом на дальнее джайляу, когда пришло горе. С водоной принесли бесчувственное, изувеченное тело отца. Он походил на кречета с перебитыми крыльями, а у людей, которые его несли, были окровавлены рукава.

Очнувшись, Эльгельды застонал сквозь стиснутые зубы. Сулув замерла, потрясенная. Никогда до тех пор не доводилось ей слышать его стона.

— Отец... Кто тебя, отец?

На лице его и одежде запеклась кровь, смешанная с пылью и песком, но в глазах не было гнева, в них светилась смертная тоска.

— Муйтены, доченька... проклятые изверги...

— За что?

Она почти не разбирала его слов, но ему хотелось оправдаться перед ней, прежде чем он умрет.

— За мной нет вины, дочь моя... Я хотел отогнать стадо от их сетей...

Сулув приняла его слова за бред. Мыслимо ли, чтобы ее отец, простосердечный, как герои дастанов, был виноват?

Она попыталась перевязать его, чтобы унять кровь. Он лишился чувств от боли.

«Помирает!» — подумала Сулув. Но и теперь ее глаза остались сухими. В них зажегся огонек безумия.

Не помня себя, она выскочила наружу. Ураганный ветер тотчас прижал ее спиной к стенке юрты. Сулув оттолкнулась и, защищая глаза рукавом, пошла в сторону аула муйтенов. Ее с трудом вернули.

Всю ночь отец стонал и бредил, повторяя, что невиновен. А утром в юрту явился Эрмбет. Этот джигит в тельнике из нежного меха, в бархатных штанах с вышивкой и в сапогах с загнутыми носками напомнил своей одеждой и обхождением сказочного батыра. Он был известен ученостью, жил где-то возле Алгыкудука, изредка приезжал к Алланбию, говорил в ауле перед народом назидательные речи и уезжал. В последнее время он зачастил в аул. Бабы языки приписывали это тому, что он увидел Сулув. Эрмбет привел с собой двух слуг. Они завернули Эльгельды в кошму и перенесли его на арбу с крытым верхом.

В арбу был впряжен самый резвый конь Алланбия, серый скакун Куктемир. Звякнув удилами, конь потянулся мордой к Сулув — он ее помнил, он носил ее в седле на джайляу.

Сулув удивилась: «Бай дал Куктемира?..»

— Отец Эльгельды — наш единокровный брат, — сказал Эримбет, глядя на девушку ласковыми, красивыми глазами. — Его повезут в Турткуль, я написал записку доктору, он вылечит... С богом!

«Хороший человек», — подумала Сулув, низко кланяясь Эримбету.

Эльгельды протянул слабую руку и обнял дочь.

— Не печалься, свет мой... Если не приберет меня к себе создатель, я вот этой рукой вырву глаза Жапаку...

Сулув отшатнулась.

— Жа-па-ку? — прошептала она.

Арба тронулась и отъехала. Сулув стояла как вкопанная, растерянно глядя вслед.

Эримбет с любезной улыбкой утешал ее, взял за руку, любовно погладил по голове.

— Конечно, он! Разве ты не знала? — сочувственно и негодуя проговорил Эримбет.

Сулув оттолкнула его с неженской силой и стремглав кинулась в юрту. Жапак пролил кровь ее отца! Она не могла этому поверить. Ей хотелось побежать, догнать арбу, спросить отца: так ли это, не ошибся ли он? Жапак... Он, единственный из аульных джигитов, нравился ей. И он — такой злодей?

Жапак поднял руку на старого Эльгельды! Как же это понять? Неужто в самом деле муйтены — потомки волосатого зверя и в их душах нет ничего человеческого?

В отчаянии Сулув упала ничком на кошму и пролежала так, не шевелясь, весь день.

К вечеру она поднялась, разбитая, обессиленная.

«Отныне ты в юрте глава», — сказал отец.

Сулув наломала хвороста, развела в очаге огонь, вскипятила молоко. Накормила и укрыла кошмой теленка — самое дорогое, что было в их хозяйстве, единственное, что приобрел отец за всю жизнь. Замесила тесто и завернула его в овчину, принялась толочь в ступе просо. Но работа валилась из рук.

Отец говорил: «Ты одна моя утеха. Если б найти тебе пару, пошел бы и я на покой, кипятил бы твой кумган, коротая жизнь с теми, кто мне дорог...» Бедный отец!

И он надеялся найти ей пару. А она уже не верила больше, что есть в ауле человек с добрым и верным сердцем, человек, подобный героям дастанов.

Спустилась ночь. Печальна была тишина после бури. Казалось, аул опустел — ни человеческого голоса, ни собачьего лая.

Грудь Сулув стеснило. Она одна во всей этой бескрайней суровой степи. Кроме беспомощного отца, ни родича, ни друга. С кем поделиться девушке тем, что накопилось в душе? Никто не поймет... Как бы прощаясь со своими девичьими мечтаниями, Сулув достала монисто, вплела его в косы, надела на голову пышный тюрбан и повязалась поверх него платком, повесила на шею бусы. Вот и все ее наряды. Но и они сегодня не радуют. От них еще горше в груди. Вдруг она подумала: а что, если Жапак уже нет в живых? Утром она слышала свирепый уран киятов... Она содрогнулась от ужаса и отвращения: опять кровь, безумие ненависти. И он, Жапак, уже не оправдается перед ней!

В ту же минуту бесшумно приоткрылась дверь, из темноты в юрту шагнул широкоплечий человек, снял шапку без меха, с голыми полями, какие носят рыбаки — и замер, опустив голову.

Сулув тотчас узнала его и отвернулась.

Не смея выговорить ни слова, исподлобья глядел на Сулув Жапак. Он никогда не видел ее в таком наряде. В неровном свете очага поблескивали монетки на ее выпуклом лбу, подчеркивая бронзовый цвет лица. По щекам разлился густой румянец, точно на морозе. Пронзительно черные глаза глядели гордо и гневно. Маленькая, стройная, гибкая и крепкая, как пучок камыша...

Давно ли Жапак, проследив, куда она гонит стадо на водопой, пробирался в лодке тайком к заветному месту, глядел на нее и не мог наглядеться, а она, сидя на коне, расплетала свои косы, косилась в сторону Жапака и, казалось, угадывала, где он притаился, и улыбалась ему? Теперь они чужие, враги, и она ему не улыбнется. Чего ради она нарядилась — в такую пору, одна? Для кого?

— Ты зачем пришел сюда среди ночи?.. — спросила наконец Сулув, сжимая маленькие твердые кулачки.

— Днем не могу показаться в твоём ауле, — ответил он тихо, — забьют меня кияты... Но я бы сам привязал себя к арбе, только бы ты меня простила, Сулув! Не вино-

ват я. Если ты осуждаешь меня, для меня это хуже смерти!

Девушка резко обернулась и шагнула к нему, легкая и сильная. Сорвала с головы платок и тюрбан, швырнула их в сторону. Звякнуло монисто в ее длинных косах. Теперь Жапак уже не разбирал, что в ее глазах — упрек или мольба, ненависть или жалость.

— Кто же тогда виноват?! — вскрикнула она с такой тоской, с такой болью, что ему захотелось схватить, обнять ее, повалиться перед ней на колени.

Он не осмелился двинуться с места.

— Я не знаю, Сулув... не знаю... Лучше скажи, что с ним... с отцом?

— Как ты решился переступить наш порог? Уходи, муйтен! Уходи, убийца!

Жапак выпрямился, надвинул на брови шапку, сказал горестно:

— Ладно. Коли не веришь мне, приди сама и убей... когда захочешь. Я пальцем не пошевелю.

Толкнул дверь и так же бесшумно, как вошел, шагнул в темноту ночи. А Сулув подняла с земли свои наряды, села у очага, уткнулась лицом в колени, сжалась вся и заплакала — впервые в жизни. Плакала она навзрыд, совсем как девчонка, плакала долго, очень долго и не знала, от чего — от горя или обиды, от злости или любви.

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ

В ханские времена Алланбий был родовым судьей в своем ауле и ходил, нацепив на грудь медную бляху величиной с ладонь. Когда белый царь пошел на семь стран войной, Алланбий появился в Хиве, за большие деньги купил у ханского чиновника, диванбеги, должность аталыка — правителя, а потраченное выкачал с лихвой из тех, кем правил. В те годы неоглядные степи казались Алланбию тесными, тысячи голов его скота паслись на джайляу, где он сам никогда не бывал, и только в советское время бай уместился в небольшой усадьбе близ Муйтенкуля. Он поклонился святым, принял священный обет и сам стал святым отцом.

Алланбий происходил из рода муйтенов. Но, как известно, святые не принадлежат одному роду, они отцы и покровители всех родов. И усадьба Алланбия, обнесенная

высоченным забором, стояла особняком от обоих аулов — и муйтенов и киятов.

Днем и ночью не утихал шум маслобойки и солерушки во дворе бая, не умолкало ржание кобылиц, рев верблюдиц. Ругались табунщики, отмахиваясь от комариных роев, которые налетали от черных юрт поденщиков, занятых разделкой рыбы. Люди задыхались от вони, исходившей из рыбного чулана.

А из богатого дома Алланбия днем и ночью пеллись крики джигитов, распивавших хмельной кумыс.

Над девятикрылой юртой бая, покрытой расписными кошмами, торчали изогнутые могучие рога архара. Некогда, говорят, голова этого козла была съедена самим Каракум-ишаном; Алланбий водрузил рога над домом. Верное средство от сглаза и убытка!

И все же на сердце у бая беспокойно ни днем, ни ночью. Кошки скребут. Подчас он словно забывал о своей святости. Единственный его глаз зловеще наливался кровью, пальцы лихорадочно трепали реденькую, в несколько волосинок, бороденку. Дела шли все хуже, хозяйство катилось к упадку.

Спозаранок к Алланбию явился Палмантаз. Держась обеими руками за живот, он хохотал, булькая, как вскипевший кумган.

— Неужто же мальчик, пришедший отдать тебе благую дань, не понял твоих желаний, святой отец? Что с ним стряслось?

Однако бай не разделял его веселости. Плешивый осекся. Подсев на овчину, поближе к сосуду с кумысом, он безнадежно покачал головой.

— Ума не приложу — чем же тебя утешить, святой отец... Может, завести сундук-бахши?

Алланбий не отвечал. Палмантаз вынул из-за щеки жвачку и, помяв в пальцах, стал катать из нее шарик.

Было время, плешивый умел угодить баю. На радениях, которые устраивал святой отец, на перепелиных боях Палмантаз неизменно тренькал на кобузе, услаждая слух повелителя, и очень смешил его — в доме Алланбия плешивый слыл великим остряком. Ныне даже они, неразлучные друзья, бай и его верный шут, не находили общего языка. Палмантаз спросил заискивающе:

— Так ты позволишь мне увести барана, святой отец?

На сей раз бай заговорил, сердито сверля плешивого своим единственным глазом:

— Барапа? За какие такие заслуги?

— Как же! Помилуй! Не я ли старался — поджег сено у киятов? Они уже схватили четверых муйтенов, заперли их в твоём чулане — проморозить им кости... Не миновать завтра резни!

— Ты мне скажи про Жапака, про Эльгельды, ловкач, попрошайка!

— Говорю тебе, я сделал все, что мог. Не веришь, — так возьми назад свою хромую корову, зазря она мне не нужна! Во всем виноват твой племянник. Если не отошлешь его домой, в Алтыкудук, имей в виду, и с поджогом сена кончится пустяками, опять он их примирит!

Бай выругался сквозь зубы.

— Навязался на мою голову ученый дурак...

Приподнялась камышовая дверь, покрытая ковром. В юрту, пригнувшись, вошел Эримбет. Он сразу угадал — говорили о нем — и с досадой поморщился.

— Как ты не видишь, что поджигаешь собственный дом, дядя? Безумствуешь, голову теряя... Ты сам муйтенец, а их травишь!

— Глупец! Болтун! — ответил Аллапбий, презрительно кривя губы. — Вон какой длинный вымахал, а не дал тебе бог ума хотя бы с птичий коготок. Я не муйтенец, я бай! Запомни. Муйтены — слуги мои. И кияты — слуги мои. Чем злее во дворе собаки, тем хозяину покойней! Слышал ты, как на той стороне реки снюхались ахаи и кипчаки? Копчилось тем, что поденщики Турдымурата взяли и не пошли работать на его рисовые поля. Понял, краснобай? Хочешь, чтобы и кияты с муйтенами снюхались и я сел бы в лужу, как Турдымурат?!

— Напрасно надеешься погреть руки на пожаре, дядя, — отозвался Эримбет, взбалтывая кумыс. — Тебе следовало бы видеть дальше своего носа. Катастрофа из-за реки придет к тебе раньше, чем ты думаешь, если только все роды кунгратские не объединятся в одну семью и не заслопят тебя, как родного отца. Эту катастрофу русские называют классовой борьбой. А у нас нет и не было никаких классов, тысячелетиями живем в мире и братстве между собой, мы одной веры, одной крови, — вот чему надо учить людей!

Аллапбий со злобой сплюнул.

— Учитель! Зудишь без толку, как овод у коровьего вымени!.. Известно тебе, что этот самый Жапак, которого ты прикрыл, уже не носит улова ко мне в чулан, отвозит

в Муйнак? Один этакий шарик бараньего помета изгадит бурдюк кумыса! Камышинка порежет тебе руку, если ты ее некрепко держишь... Нет уж, милый. Собаки сбиваются в стаю, когда видят волка. Я распалю между ними огонь, сам бог его не погасит! И лучше ты не мешай мне, если недостает ума помочь. Езжай себе, пока я добром прошу, в Алтыкудук...

— Опомнись, дядя. Я ли тебе враг? — проговорил Эримбет, невозмутимо потягивая кумыс из рога архары. — В твоём стаде русский...

Алланбий фыркнул пренебрежительно.

— Этот русский подохнет от безгака, от которого взялся лечить!

— Одно его слово опаснее, чем весь его хиниш.

— Ты заруби себе на носу мое слово! — закричал Алланбий. — Будет прикидываться овцой! Знаю я, зачем ты здесь у меня торчишь, какая птица тебя удерживает...

Палмантаз хихикнул и вставил сладеньким, бабьим голоском, подливая масла в огонь:

— Ах, горяча, как пуля! Хороша, как тюльпан, эта девка...

Алланбий вскочил на ноги и в бешенстве прошелся по юрте, выбивая сапогами пыль из овчин.

— Вот что тебя сюда приманило, собачьего сына! Теперь понятно, зачем ты отправил еле живого Эльгельды к доктору, до которого добираться шестеро суток! Надеешься облапошить девку, пока нет отца? Я тебя выведу на чистую воду. Кто тебе позволил взять Куктемира? Подлая ты душа!

Поднялся и Эримбет, с достоинством запахнул халат.

— Я приехал, чтобы спасти тебя от твоей недалёкой видности, дорогой дядя, но... с тобой стало трудно говорить.

Эримбет повернулся к Палмантазу:

— Ты разнюхал, кто этот русский, что поселился у Жапака? Откуда он взялся?

— Никто знать не знает, мулла.

— Тебе бы следовало знать. Зевает! Облепился!

Эримбет вынул из кармана железную коробочку зелёного цвета с белой надписью, выведенной прописью, латинскими буквами. В коробочке был пушистый белый порошок. Эримбет протянул её Палмантазу.

— Разделишь это на щепотки. Завернешь в бумажки

аккуратно, чтобы похоже было на его лекарство... И подбросишь в ауле больным безгаком.

— Задаром?

— Всем, кто возьмет. И не жадничай, скряга.

— Слушаюсь... Но зачем же тратить такое добро, учитель?

Эрмбет рассмеялся.

— Это — зубной порошок...

Палмантаз ничего не понял, но угодливо осклабился.

— Хе-хе... слепой курице и мусор кажется зерном! Преклоняюсь перед твоей мудростью, учитель. Лучше мне сломать шею, чем не выполнить твое желание...

— То-то же! — сказал Эрмбет и с важностью вышел из юрты.

Алламбий проводил его насупленным, подозрительным взглядом.

— Лукавит, ученый жеребец...

— Истинно, голову морочит, святой отец.

— Ладно. То, что он велел, сделай. А в остальном следи за ним в оба, глаз не спускай!

— Будьте покойны, святой отец, не прозеваем.

— Ты на все способен, плешивая скотина. Чувствую — купит он тебя по дешевке. Говорят, жадный осел торбу проедает. Тогда уж пеняй на себя!

— Господи! Да пусть сгниет моя борода на груди, если я...

Взгляд Алламмбия немного смягчился.

— Можешь взять барана. Только уладь мне это дельце с Сулув.

— Слушаю и повинуюсь, святой отец.

Алламмбий снял с головы чалму из тонкой кисеи цвета ртути, утомленно оперся локтем о пуховую подушку. С минуту длилось молчанье. И слышно было, как отчетливо тикали ходики, висевшие над слегка помятой трубой граммофона.

Алламмбий приподнял угол кошмы, натянутой на каркас юрты, и выглянул во двор. Там распорядилась его жена Бибикатча.

Накинув сложенный вдвое платок поверх громадного турбана, похожего на высокую корзину, позвякивая тяжелыми серебряными подвесками, украшавшими ее толстую шею, она то и дело покрикивала на женщин, ткавших коврики. Женщины сидели вокруг костра, глаза у них были красны от дыма.

— Ишь, всю воду выдула... у-у, ненасытная! — сварливо бранилась Бибикутча.

Алланбий смотрел на жену и морщился.

— Как услышу ее голос, все нутро у меня леденеет. Это она, дуреха, пустила слух, будто бы Сулув без рода, без племени. Эльгельды, видишь ли, нашел девку в степи — она, мол, диким кабаном вскормлена.

— По чести сказать, норов у Сулув такой, — заметил Палмантаз, хихикнув, — что, может, и вправду... кто ее знает!

— Болтай у меня! — оборвал Алланбий. — Сама она родом от гиены, бесстыжая корова, неспособная рожать! Двадцать пять лет гуляла моя палка по ее жирной спине, а в голове ее пусто, как и в чреве. Будь у меня сын, я бы этого долговязого петуха на порог к себе не пустил...

— А уж не сам ли ты слабоват, святой отец?..

— Не твоего ума дело! Приведешь ко мне Сулув — увидишь...

Сощурив единственный глаз, Алланбий силно вздохнул.

— Был я когда-то чинарой в наших степях. Согнуло меня ураганом. До чего дожил! Сижусь с тобой, плешивым псом, скулю, как сука. Что поделаешь, когда нет и горсточки мюридов, на которых можно было бы положиться!

Палмантаз, польщенный тем, что бай запросто делится с ним гаремными тайнами, пропуская мимо ушей брань.

— И я, бывало, сиживал в красном углу, святой отец. Не каждого устаивал своим вниманием, зазорным считал для себя пойти на той к небогату. А ныне сижусь у твоего порога. Сверху-то блестит, внутри свистит... Однако недаром побои достаются ведущему верблюду. Терпи, святой отец, все минет... образуется!

— Дай бог, дай бог... Глядишь, объявится, на мое счастье, еще кто-нибудь вроде Шертаке. Вот был батыр — истинный сын Джунаидхана! Я пожертвовал для его джигитов девяносто голов гнедых. Отыщется другой подобный — и большего не пожалею. А должен бы отыскаться! Наш Муйнак, точно жирное сало, приманивает этаких воронов... Дождаться бы светлых деньков!

— Дождемся, святой отец, не сомневайся...

— Твоя забота теперь — Сулув.

— За нами дело не станет. Я привяжу ее к твоему серебряному поясу, и будет она лучшим его украшением! Позволь уж, я уведу двух баранов. Задаром только обезьяны пляшут, святой отец.

Алланбий кивнул в знак согласия.

— И вот еще что сделай: воду, которой муйтены промывают свои солончаки, поверни на просяные поля киятов.

— Слушаюсь, святой отец.

«У НАС С ТОБОЙ ЗДЕСЬ ВАЖНЫЕ ДЕЛА!»

Степан лежал в тени под стогом камыша. Дремал, дожидаясь Жапака.

Что-то зашелестело в траве. Степан открыл глаза и невольно вскрикнул. Жапак стоял над ним, и на обнаженную руку его от кисти до локтя была намотана живая змея; хвост ее извивался, голова зажата в кулаке. Жапак был в испарине, взгляд его блуждал.

— Эй! Жапак, ты что делаешь?

Жапак смущенно улыбнулся и с досадой стал сматывать упругое, пружинящее тело змеи с руки. Аспидно-зеленая, длиной аршина в полтора, змея хлестала Жапака хвостом, точно плетью.

— Жалко, ты проснулся... Хотел я вложить ее тебе за пазуху.

Степан вскочил и отодвинулся, вздрагивая от отвращения. Он, правда, успел заметить, что змея не ядовитая. Брюхо черное, на голове корона — «желтые уши», это ужак.

— Лекарство твое на тебя не действует, — пояснил Жапак. — А какой же я каракалпак, если не умею вылечить гостя от безгак!

Степан с недоумением смотрел на огромного ужа.

— Ты что же, меня лечить собирался?

— У нас так: если безгак затянулся, это последнее средство. Надо пугнуть больного змеей, тогда он разом выздоровеет! Но пугнуть хорошенько, чтобы прямо руки, ноги отнялись...

Степан не знал, посмеяться ли ему или рассердиться на простодушного друга. Жапак был не на шутку огорчен.

— Целый день гонялся за ней по степи... — сказал он, словно бы с упреком, выпуская змею и следя за тем, как стремительно она уползает по песку, меж редких травинок.

— Так вот где ты пропадал целый день! А я тебя жду и жду... Забудь зменное лечение. Выдумка это глупая, дружище.

— Может, и глупая... — разочарованно ответил Жапак.

— Займемся делом. Собирайся! Я тебе пособию. Порыбачим вместе.

— А ты не свалишься опять? — с недоверием спросил Жапак.

— Выдержу, не бойся. Рыбки свеженькой охота...

Жапак, обрадованный, побежал в юрту, надел сапоги с высокими голенищами и вернулся с вершей на плече. Друзья пошли к Муйтенкулю.

Степан в потрепанном пиджачке, накинутом поверх каракалпакской рубахи из грубого полотна, с трудом поспевал за Жапаком, размашисто шагавшим в тяжелых болотных сапогах.

— Мертвые поля, — проговорил Степан, кивая на солончаки, тянувшиеся до самого горизонта. — Круглый год они такие белые?

— Круглый год.

— Соскучился я по деревцу!

— В усадьбе Тураббия росло одно-единственное дерево — тополь. И видно его было за девять конских переходов, — проговорил Жапак певуче, словно вспоминая старинную сказку.

— Неужели только одно?

— Одно-единственное на весь край муйтенов и киятов. И называли его не иначе как кровавым тополем. В ханское время, говорят, люди племени жанибас нарушили повеление хана, отказались рыть арык. Тогда их всех повесили. А вешали их на ветвях того тополя. — Жапак развязал свой кушак и, зачерпнув им воды из стоячего озера, напился. — С той поры тополь стал сохнуть на корню, а там его и буря повалила.

Пошли к берегу озера. Жапак отвязал лодку от чигря, с помощью которого обыкновенно подтягивали невод, бросил на дно вершу. Степан сел на нос лодки, Жапак оттолкнулся багром, и вскоре они выплыли в густые заросли камыша.

Лодка скользила по узенькому, пзвилистому фарватеру, точно по коридору меж шелестящих стен камыша, — наверно, потому и называли этот путь по озеру «шелестящей тропой». Иногда она выводила на тихие округлые заводи, тянулась мимо зыбких болот, покрытых горелым камышом. Так можно плыть от заводи к заводи, из озера в озеро, обходя непролазные топи, и приведет тебя «шеле-

стящая тропа» через шесть дней на сверкающую гладь Арала.

У берега, близ аула, не умолкает лягушиный шабаш, стоит затхлый, одуряющий запах дохлой рыбы, всплывшей кверху брюхом. А в глубине озера воздух чист, тишина; только гулко и мерно дышит камыш да изредка бухнет выстрел охотника в кабана. С заводей белой тучей вздымаются стаи ленивых бакланов с длинными клювами, набитыми рыбой. Лодка без плеска словно бы вползает в камыши, и кажется, что нет им конца. Дикие, глухие места, заповедные воды, суровый край.

«А живут здесь бедняки, труженики, горемыки... — думал Степан. — Должна и сюда дойти новая жизнь. Иначе быть не может!»

Лодка медленно плыла вдоль длинного сухого мыса, заросшего камышом и кустарником. Степан заговорил как бы про себя, словно думал вслух:

— Ходил я вчера по аулу, попал в компанию бахши...

— Скажи лучше — к киятам, — неодобрительно отозвался Жапак.

— А хотя бы и к ним! Привел меня в свою юрту старик Уббинияз. Оказывается, детисек его вылечило наше лекарство, — так он не знал, куда меня усадить! В юрте у него собрались со всего аула любители послушать его песни. Дали ему кобыз; и давай уговаривать, чтобы он спел песни того самого Утар-бобо, девяностолетнего веротступника, про которого ты рассказывал...

— Хитрят они с тобой, заигрывают, — ревниво проговорил Жапак.

Степан в раздумье прикусил губу. Понравились ему люди, среди которых он вчера был. Простодушные, открытые, они жадно слушали печальную музыку своего народа, стеснившись вокруг дымящего очага. Как может в их сердцах таиться темная злоба, бессмысленная вражда друг к другу? Разве это человеческий закон — так жить?

— Слушай, браток, расспросил я вчера про ваше житье-бытье. Если верить Уббиниязу, когда-то, давным-давно, эмир Бухары вербовал каракалпаков в солдаты и велел заклеить их коней особым клеймом в виде ножниц. С той поры стали звать этих людей «ножницамп». А потом хан Хивы, призвал воинов, тоже каракалпаков, и заклеил их коней другим клеймом, похожим на гусиную лапу. И прозвали этих людей «гусиными лапами». Давно

уж нет ни эмира, ни хана, а «пожицы» и «гусиные лапы» по сей день враги! Правда это?

— Кто его знает...

— И еще говорил отец Уббиняз, что все пять туксанов¹, населяющих ваш край Кунграт, ненавидят друг друга. А кто делил людей на туксаны? Холуи хана Хивинского. Зачем делили? Затем, чтобы легче было выкачивать из народа налоги и подати! Соображаешь?

Жапак с любопытством слушал Степана, но ответил ему, упрямо опустив голову:

— Это все басни старого Уббиняза...

Вдруг на мысу, из-за кустов, показалось трое всадников. Вперед скакала женщина, и концы ее белого головного платка развевались на ветру; за пей — старик и пастух-подросток. Парнишка, не умолкая, кричал:

— Вот он, пришелец, который скрывается в юрте Жапака! Вот они оба!

Жапак придержал лодку у берега, и женщина, свесившись с коня, кинула в лицо Степану несколько комочков бумаги, из которых посыпался белый порошок.

— На! Подавился своим лекарством, шут!

— Вот он! Вот он! — кричал пастух.

Старик в накинутом на плечи халате держался спокойней, строже.

— Я вижу, ты чужестранец, — сказал он. — А не то... знаешь, как у нас поступают с тем, кто насмехается над людьми, лежащими на смертном одре? Привязывают к хвосту верблюда и угоняют в степь...

— Пойдите. Кто вы? В чем дело? — начал было Степан, смахивая с лица белую пыльцу.

Но его не слушали.

Женщина плюнула в его сторону.

— Вот и ходи такой желтый, как песок! И да испрошет тебе аллах смерть лютую на чужбине! — со злобой прокричала она и повернула коня назад.

Старик добавил истово и важно:

— Ты осквернил материнскую любовь. Зачем, скажи? Сын ее проглотил твоё белое лекарство, и теперь мучается в судорогах. Думаешь отомстить за Жапака? Не хотим мы тебя больше знать!

С этими словами и старик повернул коня, уводя за собой пастуха, который продолжал твердить:

¹ Туксан — девятисто человек, податная группа.

— Это он... тот самый!

Степан рванулся было за ними, но Жапак удержал его. Растерянный, обессиленный, Степан опустил на дно лодки, утирая со лба холодный пот.

У ног своих он заметил бумажный комочек и поднял его. Что такое? Бумага слишком свежа и свернута не так...

Степан торопливо развернул бумажку и коснулся порошка языком.

— Черт! Это не хина!..— вскрикнул Степан.— Понимаешь? Мел или известка... Подлость какая! Кто ж это сделал?

— Ясно кто! Кияты... Запутают они тебя.

— То они заигрывают, то запутывают... Не пойму я, чего мне опасаться.

— Эти люди ночей не спят, ищут повод для резни. Скорей бы уж ты поправился... да ехал к себе на родину...

— Нет, погоди, браток! — Голос Степана наполнился еле сдерживаемой яростью.— У нас с тобой здесь важные дела. Никуда я отсюда не уеду! — и погрозил пальцем кому-то на берегу.— Шалишь, не запугаешь!

Жапак улыбнулся, обрадованный. Хорошо, если бы Степан пожил с ними, что говорить! Только бы он не передумал.

А Степан, сжав в кулаке бумажку с порошком, покусывая губы, примолк. Потом, ни с того ни с сего, стал расспрашивать про стройного джигита, который примирил киятов и муйтенов, когда они спорили о хуне. Может быть, Степан искал влиятельного человека, на которого мог бы опереться?

— Ты про Эримбета? О, это ученый человек! Говорят, в своем Алтыкудуке он каждый день газеты читает... Человек благородный! Только и печется о том, чтобы наши роды и племена жили мирно. Недавно он долго сидел с засольщиками рыбы в чулане Алланбиа, толковал про разное. Такой приветливый, обходительный... Учености у него — полон рот!

— О чем же он толковал? — спросил Степан.

— Говорит, будем строить коммуны. Оказывается, мы, кунгратцы, можем раньше всех прийти в коммуны. Почему? А потому, что мы дети одного отца. А раз мы все единокровные братья, нам незачем воевать между собой, как вам, в России. У нас классов никаких нет. Мы должны собрать все свои силы, и тогда сможем сделать все, что захотим. Так он говорит.

— Интересно! Знакомые речи...

— Еще бы, они всем по душе! Даже Алланбий слушается Эримбета, хотя и старше его. Что ни говори, а пришлось Алланбию выпустить из чулана четверых муйтепов, — их схватили за то, что они подожгли сено у киятов. Не будь Эримбета, бай заморозил бы их в чулапе живьем.

— Жапак! Неужели ты не видишь, кто твой истинный враг?! — с горечью воскликнул Степан.

— Уж мне показали кто! На твоих глазах было. Слепой бы увидел...

— У меня к тебе просьба, — перебил Степан, — последи-ка за этим ученым красавцем. Глаз с него не спускай. Надо знать, о чем он говорит, с кем говорит, где бывает...

Жапак с недоумением оглянулся через плечо.

— Ты говоришь так, будто Эримбет...

— Это, брат ты мой, лиса! Облезлая, правда, линялая, но — зубки еще острые, береги горло... Он похитрей Алланбия!

— Что ты, что ты!

Степан махнул рукой.

— А я завтра же полетусь в Муйнак.

— Зачем?

— Надо.

— Не дойдешь ты до Муйнака.

— Не дойду — так доползу. Я большевик, Жапак. Мне не к лицу уходить из боя. Уж если такие дельцы, как Эримбет, не гнушаются работать здесь, я отсюда ни шагу! А у нас с тобой пока — никакого актива...

— Что такое актив?

— Ну, к примеру, аульный Совет. Аул есть, Совета нет. Надо выбрать... понял? Одним словом, в Муйнак, немедля. Свяжемся с муйнакскими коммунистами, и пойдет дело! Голову поднимем!

— Но ведь ты по дороге не знаешь, Степан... Кругом сплошь болота, топи, запутаешься, погибнешь. И куда тебе, хворому, — такая дорога! Не пуцу я тебя...

— Некогда спорить, друг.

Степан огляделся и кивком головы указал Жапаку на берег. Там появился новый всадник, на высоком коне.

Далеко от берега всадник спешил и скрылся в камышах, но Жапак тотчас узнал коня — серого в яблоках, лучшего из коней Алланбия. Куктемир!

— Это уж по мою душу, — сказал Жапак не то с радостью, не то с опасением.

Упершись шестом в неглубокое дно озера, Жапак прыгнул из лодки на берег и побежал вглубь, раздвигая обеими руками камыш.

Навстречу ему шла Сулув.

На ее груди не было подвесок, голова повязана помужски красным, туго скрученным кушаком, в руке плеть. Она почти бежала, и все грозней казались Жапаку ее раскрасневшееся лицо и глаза, горевшие неукротимым огнем гнева.

Он понял: она идет, как было условлено меж ними, взять с него хун за отца! Все тело Жапака покрылось холодным потом, но он не укоротил шага. Что ж, если у нее есть нож, пусть всадит своей рукой ему в грудь, больше ему ничего не нужно...

Они встретились лицом к лицу на тесном болотистом пятачке, свободном от камыша. Сулув порывисто дышала. Жапак заложил руки за спину и выпрямился, открывая грудь. Но девушка, взмахнув руками, точно птица крыльями, бросилась ему на грудь, с силой обняла. И Жапак услышал у самого уха ее горячее дыхание, страстный шепот:

— Никого у меня нет, кроме тебя, Жапак... Эримбет ночью ворвался ко мне... Палмантаз круглые сутки вертится около моей юрты. Сама не замечу, как пырну ножом кого-нибудь из этих псов!.. Слышишь?

На глаза Жапаку навернулись слезы. Он прижался щекой к ее виску.

— Слышу, Сулув. Я все слышу... Кто, ты сказала, ночью?..

— Эримбет... Я убежала от него из своей юрты...

— Ну, погоди ж, краснобай! — сквозь зубы проговорил Жапак.

— Милый Жапак, не отдавай меня никому!

— Я с тобой, Сулув... Я всегда с тобой... Кто захочет до тебя добраться, нарвется на меня! Теперь мне ничто не страшно. Веришь?

Она прижалась к нему еще сильнее.

— Но ты не ходи ко мне. Опозорят тебя, милый. Скажут: «Отца убил, а теперь с дочерью...»

— Сулув!

— Не бойся за меня. О себе подумай...

Девушка выскользнула из его объятий и скрылась в камышах. Через минуту Жапак увидел ее скачущей на Куктемире к аулу.

Проводив Сулув взглядом, Жапак бегом бросился назад, к лодке, прыгнул в нее с разбегу, чуть не опрокинув, и привалился плечом к Степану, глядя на него ошалело и восторженно.

— Степан! Друг! Как ты узнал, что Эримбет худой человек? — И, не дожидаясь ответа, он добавил просительно: — Хочешь, я пойду в Муйнак? Говори, что мне там делать? Можно мне вместо тебя?

— Пожалуй, — ответил Степан, утирая со лба лихорадочную испарину.

МАСЛО В ОГОНЬ...

Жапак вернулся из Муйнака не один. С ним прибыл уполномоченный муйнакского Совета. Это был человек средних лет, с маленькой острой бородкой и белесыми бровями, в полувоенной одежде, в очках с золотой оправой.

— Колесов! — представился он Степану, крепко потрянув его руку. — Вы оказали неоценимую услугу, товарищ Силаев, послав к нам надежного человека. А то, что вы решились, больной, остаться здесь, — попросту подвиг, это по-большевистски. Отныне вы станете нашей опорой в здешних местах. Мне поручено взять вас на учет. Будьте любезны, покажите мне ваш партийный билет.

Колесов взял билет Степана обеими руками, и руки его чуть подрагивали. Холеные руки, без царапин, без мозолька. Из учителей он, что ли? Колесов долго рассматривал билет, подняв очки на лоб, щуря глаза, словно обнаружил что-то подозрительное. Потом сказал покровительственно:

— А вы, оказывается, еще так молоды... Хо-ро-шо! — Он вкрадчиво улыбнулся. — Разумеется, у нас нет оснований не доверять вам, но и... простите меня, пока что мы вас по сути дела не знаем. Не так ли? Вообще вы человек нездешний. Вам необходимо у нас пожить, так сказать, акклиматизироваться, что, впрочем, не умаляет сказанного выше: за своевременный сигнал спасибо.

Чувство робости и настороженности охватывало Степана. Уполномоченный подавлял его мудреными словечками, начальственным тоном. Степан ждал расспросов, хотел бы и товарища кое о чем «спросить». Но уполномоченный не слушал, а говорил сам без умолку, как за-

веденный, витиевато и наставительно. Не таким представлял себе Степан братка из Муйнака...

— Мы здешние спокон века, — говорил Колесов, пощипывая бородку. — Ситуация, которую обрисовал нам ваш друг, нас, собственно, не может удивить. Ситуация до шаблонности типичная! Право!

«К чему он клонит?»

— Итак, полагаю, следует завтра же провести выборы, — заявил Колесов.

— Завтра?! Сразу? — удивился Степан. — А может, сперва...

Колесов не дал ему договорить:

— Мы верим в народ, товарищ Силаев! В свою очередь, и у нас нет основания сомневаться в доверии народа. Не думаю вместе с тем, что следует в создавшейся ситуации настаивать на выборах Совета полного состава. Видимо, правильнее будет пока что избрать одно лицо, вполне полномочное... ну, допустим, председателя будущего Совета. Таково наше мнение! Кого бы вы считали возможным рекомендовать в качестве кандидата?

Это был первый вопрос, который задал Степану уполномоченный. Но теперь Степан не торопился отвечать. Не нравился ему Колесов. Степан чувствовал нутром, «печенкой», какую-то фальшь в его речах, во всем облике, чуждом, непонятном, — не похож на большевика, и только!

Подлив из тыквянки молока в чай, Степан намазал лепешку икрой и положил угощение перед гостем. Но тот слегка отодвинулся... Воротит здешнего-то от запаха икры!

— Вы хорошо знаете этого молодого товарища... Жапака? — спросил Колесов, обмахивая носовым платком усы и бородку.

— Знаю. Хорошо, — ответил Степан. — Этого бедолагу, как себя, понимаю.

— Превосходно! Лучшей характеристики желать невозможно. Он и в Муйнаке на всех нас произвел хорошее впечатление. Истинный выходец из народа. И такой, знаете ли, горячий, справедливый молодой человек... Вот вам и кандидат! Чем плох председатель? Недурен, право, недурен!

Этого Степан не ожидал. А Колесов даже отхлебнул из чашки чай и сморщился, будто бы оттого, что чай горяч.

Выбрать Жапака... Здорово! Степан и сам, пожалуй,

не решился бы такое предложить. А мысль дельная! Степан посмотрел на уполномоченного немного помягче и не заметил, как улыбнулся ему.

Кого же, в самом деле, если не Жапака, в Совет? Таких, как он, и выбирать. Вот и кончится его сиротство в родном ауле.

В ту минуту Степану очень захотелось потолковать с Колесовым по душам, без обиняков, как попроще... Кликнуть бы Жапака и посмотреть, как он изумится тому, что его, неженатого джигита, последнего бедняка в ауле, прочат во власть!

Но Колесов заторопился. Ему хотелось пройтись по аулу, побеседовать с людьми. Степан ожидал, что тот, по крайней мере, позовет его с собой. И ошибся. Вновь энергично тряхнув Степанову руку, а затем барственно кивнув, уполномоченный ушел.

На следующий день на широком белесом такыре между аулами муйтенов и киятов, где в прежние времена происходили выборы баев-правителей, собрался многолюдный сход.

Пришло несколько сот человек; тесно расселись на земле, поджав под себя ноги. Вокруг были видны лишь высокие меховые шапки, и казалось, будто это прилегла отара овец.

Многие плохо понимали русскую речь Колесова, но слушали его внимательно. Главное же понимали все: не будут больше в каракалпакских аулах властвовать чиновники ханов-деспотов, а будет в Муйтенкуле Совет, и выберут в него бедняков.

Алламбий сидел впереди всех в меховом тельпеке. Поблескивая единственным глазом, он то и дело согласно покачивал головой — он одобрял каждое слово оратора из Муйнака.

Степан и Жапак стояли позади Колесова. Полуденное солнце пекло нещадно. У Степана кружилась голова. Все, что говорил Колесов, Степан хотел бы сказать иначе — короче, яснее, понятнее, но чувствовал, что не выдюжит, едва держится на ногах от слабости...

Он уже перестал слушать Колесова, когда тот внезапно предложил выбрать первым в Совет Жапака и, отступив в сторонку, подтолкнул Жапака вперед.

Несколько секунд длилась напряженная тишина, затем весь сход одним рывком поднялся на ноги, и вместе с густой пылью вознесся к небу неистовый рев.

Десятки голосов вопили во все горло:

— Не надо нам его, убийцу!

— Пусть заплатит сперва хун!

— Мы еще не сквитались, погоди!

Жапак прижался плечом к Степану, шепча:

— Это кияты... Я говорил: зачем меня?.. Я говорил...

А Колесов словно того и ждал — нимало не удивился и не потерялся. Терпеливо и ласково улыбаясь, он довольно вяло помахивал ручками, успокаивая сход.

И эта улыбка, это спокойствие выдали Колесова с головой. Он приехал, чтобы сорвать выборы! Это ясно!

Степан выступил вперед, но, как ни напрягал голоса, его не слышали. Поздно он спохватился...

Опершись о плечо Жапака, Степан проговорил пересохшими губами:

— Крикни ты. Предложи выбрать Уббиняза... Давай...

Но и Жапаку было не под силу перекричать толпу. Едва он открыл рот, кияты, горланя, бранясь, потянулись с площади, стали расходиться.

— Не будем выбирать! Не хотим такой власти!

И многие ушли.

Вместе с киятами шумели и муйтены, защищая Жапака. И постепенно голоса муйтенов взяли верх. Тогда Колесов визгливо выкрикнул:

— Голосу-ую! Кто за Жапака, поднимите руки!

Муйтены подняли руки.

— Принято! Выборы закончены! — прокричал Колесов, смеясь, словно бы радуясь успешному исходу.

Степан, шатаясь, шагнул к нему.

— Что вы делаете? Голосуйте Уббиняза заодно!

— Не надо, не надо первничать, товарищ Силаев, — ответил Колесов, обнимая Степана за плечи и почти силой уводя его с собой. — Будем держаться принятых решений.

А гул голосов на такыре не угнхал. Кияты и муйтены продолжали спор, — одни радовались, другие бранились, имя Жапака твердили на все лады.

— Слышите, что делается? — пробормотал обессиленный Степан. — Выборы должны были закончить с враждой между аулами, а мы ее только разожгли...

— Странно вы понимаете задачи Советов!

— Я так понимаю, что большинство не голосовало. Ушли люди...

Колесов оттолкнул Степана, принял начальственную позу.

— Мы не потатчики дебоширам и саботажникам. Вам, коммунисту, следовало бы мыслить принципиальнее! — И глаза Колесова насмешливо блеснули за золотыми очками.

— Вы-то коммунист? — спросил вдруг Степан.

Колесов прищурился.

— Я, дорогой мой, перед вами не отчитываюсь!

Затем, взяв Жапака под руку, он повел его в сторону аула киятов. Жапак оглянулся было через плечо на Степана, — взгляд у парня был растерянный и вопросительный, — но Колесов не отпустил от себя новоизбранного председателя Совета.

Степан остался один. Шедшие мимо кияты кричали ему:

— Эй, русский, купили тебя муйтены! За сколько?

— Недолго твоему председателю разгуливать по земле!

— Вернется Эльгельды, он его... выберет!

Вряд ли добрался бы Степан до дома — свалился бы по дороге, — да подошел Уббиняз, крепко подхватил его за пояс.

— Пойдем, брат, провожу...

Жапак вернулся к себе в юрту уже в сумерках. Молча уселся на землю, низко опустив голову.

Время от времени Степан чувствовал на себе его взгляды исподлобья. Казалось, парень что-то подозревал и хотел это скрыть. Однако не мастер он хитрить! Все у него наружу...

Над аулом было по-ночному тихо, только со двора Алланбия изредка доносилось подвывание прирученного волка.

Степан подсел к Жапаку.

— Ну что молчишь? Насупился, как сова... Видать, успел он наплевать тебе в душу.

— Он человек тоже ученый, — ответил Жапак глухо.

— Еще бы! Проучил нас, ротозеев. Это ж провокатор чистой воды...

— Чистой воды? Что это такое?..

Степан ответил, стукнув себя кулаком по лбу:

— Я сам виноват, сам! Ах, добраться бы мне до Муйнака!..

Жапак вновь опустил голову, прища глаза.

Издалека донесся протяжный вой волка. Степан невольно поежился, а Жапак словно и не слышал, привык, — волк этот всегда воет, когда в белой юрте бая появляется новый человек.

В ту ночь у святого отца гостил не кто иной, как Колесов...

С удобством облокотясь на пуховые подушки, он обгладывал жирное баранье ребрышко, запивая мясо добрым кумысом. Сытно в байском доме, но не мирно. Колесов пушил Эримбета:

— Зря ты путаешься под ногами у бия. Твоя старообразная, изношенная, как тряпка, теория о вращении рода в социализм давно изжила себя. Она пошла на саван алаш-ордынцам! Поди, истлела уже в их могиле... Большевики похоронили ее надежно. А ты еще носишься с ней со страстью политического дурачка!

— Во всяком случае, я не обольщивчился, подобно тебе... — отвечал Эримбет.

— Милый друг, у тебя как будто два глаза, ровно вдвое больше, чем у бия, но он видит в политике то, что ты и не приметил! Мы все балуемся, играем под большевиков. Но зачем? Затем, чтобы делать свое! Здесь не Россия, здесь мы к аллаху ближе. И пока любезные тебе роды и племена дерутся, они слепы! Что и требовалось доказать...

— Эта политика тоже на ладан дышит, дорогой Колесов!

— Положим. Допускаю. Но придумай же что-либо новенькое!

— Представь, что придумал. Очень скоро, быть может, ты увидишь меня в роли рыцаря ножа и плаща... Больше ничего не остается.

— Шикарно сказано. Что-то мне еще доведется услышать! Объяснись же, ради аллаха...

Эримбет бросил на блюдо обглоданную кость.

— Арал наш велик. И суда пока в наших руках. Я акционер пароходства Райтмана... На нашем Арале можно спрятать целый пиратский флот! Ты слыхал когда-либо, что такое «щелестящая тропа»?.. Айда со мной, господин адвокат! Сделаю тебя юнгой... Брошу все, выйду в море, и я адмирал. Гуляй, пока не потонешь!..

— Лю-бо-пыгги! Ты знаешь, весьма, весьма... — проговорил Колесов, перестав жевать.

А волк на цепи, привязанной во дворе к арбе, все выл и выл, подняв длинную пепельно-серую морду к луне.

НОЧЬ, В КОТОРУЮ ПРОПЕЛА ПРЕДВЕСТНИЦА БЕДЫ

Жапака словно подменили. Целый день он не отходил от Степана ни на шаг, но глядел по-прежнему исподлобья, и в глазах его была тоска.

Степан и не пытался с ним заговорить, знал, что тот отмолчится, прикинется тугим на ухо.

«Пусть, пусть переболеет... Пусть сам разберется, что к чему», — думал Степан, не позволяя себе рассердиться, делая вид, что ничего не замечает.

Поздним вечером, при свете лампы, они сидели друг против друга и плели вершу. Степан тихонько напевал. И вдруг Жапак вскочил и, топчя старые, рваные сети, бросился к нему, крепко обнял его колени. Степан оторопел от неожиданности.

— Ты что? Зачем это?

— Я верю тебе... Верю, Степан! А тому, в очках, — не верю. Ты опять правду сказал: он тоже худой человек. Неужто все ученые такие? Зачем им дана ученость? Обманывать нас? Принес мне ветер из степи друга, тебя... а этот меня — как пса на лисицу! Совсем худой человек.

Степан потрепал его черные, точно смола, жесткие волосы, оттолкнул от своих колен.

— Коли я тебе друг, что ж ты кланяешься мне, как баю? Отвыкнуть пора от этих повадок! Чучело гороховое! Чем у тебя голова забита?

— Я знаю, знаю, что глуп.

— Кто глуп, кто умен, дело покажет. А раз уж тебя избрали — держись! И думай теперь не о себе. О людях думай. Что для них сделать?

— Не знаю я... не умею...

— Это ты брось, парень! — сердито вскричал Степан. — Раз и навсегда... Кто же верней тебя поймет, в чем нужда у трудового человека? Алланбий, что ли? Хватит слюни-то распускать! Не позволю! Кровь из носу, а что надо, сделай... сумей!

Жапак опустил голову, сказал неуверенно:

— Есть у нас большой арык, на нем дамба. Каждый год вода ее прорывает. Прозвали эту дамбу — Ишак Утоп... Эх! Собрать бы народ, вывести, поднять дамбу! Хорошо бы...

— И собери, выведи!

— А княты? Затеют на дамбе резню...

— А ты зачем? Ты власть. Не зевай. Вон Эримбет — именем аллаха... а ты — именем советской власти!

Жапак прислушался, отошел к открытой в степь двери юрты. Плоские вяленые рыбыны, висевшие над дверью, внезапно закрутились волчком под сильным порывом ветра.

— Опять задувает... — сказал Жапак. — Давеча в сумерках кричала птица-табушник. Не к добру.

— Вернись приметам?

— Как подавишься рыбьей костью, так и айрап будешь жевать!

Жапак вновь прислушался, беспокойно поглядывая на Степана. Ночь выдалась темная, в небе над степью ни одной звезды. А ветер свистел и ухал, набирая силу.

— Слышишь? — спросил Жапак.

Степан тоже подошел к двери.

— Что это?

— Сам не пойму...

Издалека, сквозь протяжные вздохи ветра, доносился странный шум — не то шелест камыша, не то гомон людских голосов.

Жапак и Степан вышли из юрты, почти на ощупь побрели к холму, у подножия которого стояли палатки муйтенов-рыбаков. Непонятный шум доносился все явственнее. Теперь можно было различить отдаленные голоса, испуганные, жалобные, — казалось, они звали на помощь.

— Беда! Это в ауле княтов, — сказал Жапак. — Недаром кричала табушница...

Между палатками замелькали тусклые огоньки фонарей. Огоньки тянулись вверх на холм. А с холма слышались негромкие голоса муйтенов:

— Факелы! Гляди, жгут факелы... Ишь ты!

— Дамбу прорвало, будь она проклята... Наводнение...

— А поделом им, княтам! Пускай поплавают...

— Это божья кара за грехи... за гордость!

— Братцы, а у них в ауле ни одной лодки. Топут, поди...

— И верпо... Как вода шумит... Не убежишь от нее — догонит!

— Факелов-то меньше и меньше... гаснут... Что делается!

— Ишак утоп... и княт утоп!

— Пошли-ка, люди, спать...

Когда Жапак и Степан взобрались на холм, многие муйтены, позевывая, ежась от ночной прохлады, собирались уже расходиться по домам.

— Товарищи! — крикнул Степан. — Люди гибнут. Выручать надо.

Ему ответили насмешливые недобрые голоса:

— Какие люди? Разве кияты люди?

— Их выручишь, а они завтра прольют нашу кровь!

Степан словно не слышал их.

— Жапак! Скорей... Поднимай всех на ноги!

Но муйтены заговорили еще злее:

— Жа-па-ак? Только ему и спасать киятов!..

— За то, что брата его распяли на арбе, камнями забили...

— И самого убили бы... по сию пору грозятся!

— Зачем срамили его на выборах, позорили?..

— Беги, Жапак! Скорей... клади голову за своих лиходеев!

Степан дернул Жапака за руку.

— Ну, что же ты молчишь? Зачем тебя выбрали? Объясни народу зачем!

— Люди! — сказал неожиданно зычно Жапак. — Раз вы меня выбрали, я больше не муйтенец, не кият, я — аульский Совет. А Совет — за всех бедняков! Там не Алланбий, там рабы его тонут... такие же горемыки, как мы!.. Хотя они и обидчики наши... Стыдно, братья, спать в такой час!

С минуту длилось изумленное молчание. Муйтены словно не верили своим ушам. Но речь Жапака понравилась. В ней была новая правда, непривычная сила. Люди застыли в ожидании.

— Давай, давай... молодец... — шепнул Степан.

Жапак, почувствовав, что его одобряют, на момент потерялся; он и сам от себя не ожидал такой прыти. Парень стоял перед аульчанами, разводя руками, немо шевеля губами. Степан закончил за него:

— Лодки, товарищи... первым долгом — лодки! За мной!

Толпа шумным потоком хлынула вниз с холма. Казаюсь, обрадовались люди... Рыбаки умеют держаться дружно, когда приходит беда!

По аулу муйтенов пронесся призывный крик, словно передаваемый по эстафете:

— Кто выбирал Жапака — на дамбу!

Не заметили, кто первый так крикнул, но зов этот мгновенно облетел аул, и ни один человек не остался равнодушным.

Когда Степан прибежал к месту бедствия, на воде было уже несколько лодок.

В темноте, при неровном свете факелов, люди не узнавали друг друга. Отовсюду слышались панические крики, детский плач, вопли женщин. Глухо и страшно шумела вода. Но теперь Степан услышал и другие голоса, мужские, напряженно-спокойные, и узнал среди них охрипший, но властный голос Жапака:

— Вяжи камыш! Мужчины, на дамбу! Бросай лодки бабам!

Степан видел, как Жапак, высоко держа в руке факел, прыгнул из лодки на откос дамбы. За ним бросились другие с кетменями. Опустевшие лодки понесло к затопленному аулу.

— Катн коруру! Навались!

Корура — это большие округлые комы глины, смешанной с хворостом, камышом и кусками войлока. Обычно целое лето они лежат на дамбе, сохнут на солнце и ветру. Теперь их стали скатывать и валить в узкий прорыв в дамбе, откуда бурливо, с гулким плеском рвалась вода.

Степан вошел в воду по пояс — она была холодна и валила с ног, — поймал лодку и направил ее к ближайшей юрте. Но юрта оказалась пустой — ни людей, ни вещей, она сама плыла, раскачиваясь на легкой волне; рядом плыла детская зыбка, медленно тонули намокшие кошмы.

Потом Степан услышал в темноте кашель и натужное дыханье и втащил в лодку старика, плившего с большим узлом на голове, — бедняга выбивался из сил. Удалось подобрать еще двоих, топивших друг друга на глубоком месте, — эти были совсем невменяемы, не могли вымолвить ни слова. Степан не разобрал в темноте и в спешке, молоды они или стары, мужчины или женщины.

Оставив их втроем в лодке, Степан кинулся вплавать к другой, крутившейся на водовороте. Ухватившись за спущенное на воду весло, Степан нащупал босой ногой дно и... похолодел. Под ногой его был не грунт, а человеческое тело. Вдохнув поглубже, Степан нырнул, нащупал на дне мешок, видимо, с зерном, какие-то шесты и потащил изпод них утопленника. С трудом поднял безжизненное тело в лодку. Это была женщина.

Мимо проплыли две лодки, нагруженные людьми и узлами до отказа. На камышовой ограде, крутившейся на воде, сидел котенок. А неподалеку черпала бортами воду третья лодка, с нее послышались испуганные крики. Степан быстро подгрел к ней, пересадил в свою лодку детишек, перетащил к себе часть вещей, схватил и котенка, а сам опять слез в воду и пустился вплавь, держа за корму лодки и толкая ее впереди себя.

Плыл он легко даже в одежде, но остыл в студеной воде, — его стало знобить, и он опасался судороги.

Хриплый стон заставил Степана с тревогой взглянуться в темноту. Стон повторился, послышалось бульканье. Где-то близко захлебывался человек. Степан бросил лодку и изо всех сил, частыми саженками поплыл в сторону, где слышался стон.

Ему не сразу удалось найти тонущего.

— Где ты? Подай голос!

Молчанье.

— Ну, крикни, что ли!

Ни звука... Неужто опоздал? Степан яростно выругался. И тут же натолкнулся в воде на двоих — женщина, плывя на боку, поддерживала одной рукой мальчишку. Длинные ее волосы распустились, облепив мокрыми прядями лицо. Мальчик был без чувств.

Степан отобрал его у женщины, вытолкнул ее повыше из воды.

— Доплывешь сама-то?

Она невнятно промычала.

К счастью, вскоре Степану удалось нащупать ногой землю. Спасительный холмик... Почти силой заставил Степан женщину встать на ноги. Она упорно сопротивлялась ему, судорожно била руками и ногами по воде, ничего не соображая. Потом отдышалась, откашлялась, повиснув всем телом на Степане, дрожа с ног до головы, и стала стыдливо отстраняться, отгораживаться от него локтями. Степан смекнул — это девушка.

— Ладно уж, — проговорил Степан, — держись знай!

— Спасибо... тебе... — ответила она хрипло, откинув волосы с лица.

И Степан узнал Сулув.

Он стал трясти мальчишка, растирать ему ладонью щеки. Тот стонал, не приходя в себя.

— Брат твой? — спросил Степан.

— Я его не знаю.

- Надо скорей... отогреть...
- Спасибо тебе, — повторила Сулув.
- И тебе...

Они поплыли дальше. У Степана свело ногу, но уже на мелком месте. Наконец выбрался на сушу.

На холме, у самой воды, горели костры. Повсюду слышались причитания женщин, детский плач. Полуодетые, промокшие до костей люди теснились вокруг костров, бродили меж ними, отыскивая родных и близких.

Степан положил мальчика у ближайшего костра, и сам свалился неподалеку, дробно стуча зубами.

Так пришла беда, и кияты остались без крова, без имущества, без куска хлеба. И так вышло, что в беде кияты увидели рядом с собой муйтенов. Молчали кияты, не понимали глаз. Не слышно было слов благодарности. Стыдно благодарить...

Только старый Уббиняз, сдирая с бороды налипшую грязь, вымолвил кратко:

- Добром за зло...

Рассветало. Вернулась с дамбы группа мужчин и среди них Жапак, едва волочивший ноги от усталости. Рыбаки сделали дело: прорыв завален надежно, вода перекрыта. Их окружили тесной толпой — и муйтены и кияты; сегодня их не отличить друг от друга.

— А Жапак-то, Жапак... Ну и парень! Что твой батыр! — заговорили в толпе киятов.

Тогда Уббиняз возвысил голос:

- А вы поднимали за него руку?!

— Знал бы я, поднял бы... — отозвался молодой кият. — Хоть сейчас подниму...

Сулув стояла рядом с Жапаком и искоса поглядывала на него восторженно блестящими глазами. А он вроде и не замечал ее, — так изнемог на проклятой дамбе.

— Степан где? — тихо спросил Жапак, и все стали осматриваться, ища Степана.

Его нашли в бреду у потухшего костра. Он не узнавал никого.

Тут же, над лежавшим в беспмятстве мальчиком, голосила женщина. Другая женщина неистово колотила над самым ухом мальчика ступой о котел. Третья наставляла:

— Сильней звони, сильней! Услышит он — бог даст, и вскочит, сердешный...

Мальчик тоже бредил. Он так и умер под этот дикий звон.

ЭЛЬГЕЛЬДЫ ВЕРНУЛСЯ

Вскочив на ноги, Сулув стремглав бросилась из юрты. И не заметила, как задела подолом платья ведро с молоком, — полетели белые брызги.

— Отец! Родной мой!

Она думала, что забьется, как птенец, расплачется на его груди. А оказалось, что отец потерялся в ее объятиях — он стал маленьким и тощим, плоским, как сушеная рыба. Один рукав его рваного халата был пуст, заложен за пояс.

«Ты ли это?» — спрашивал взгляд Сулув. И на глазах отца выступили скупые, постыдные слезы.

Давно ли он был рослым, плечистым, глаза его всегда смеялись, когда он молодецки джигитовал со своей дочкой по горным пастбищам! Теперь он калека, одно плечо опустилось, будто придавленное тяжким грузом, спина согнулась, а во взгляде мука, тоска. И следа не осталось от прежней воли и мужества в его лице; сиротливо торчат редкие сивые усы. Старичок жалкий...

Бережно обняв отца сильной рукой, Сулув повела его в юрту и, как ребенка, уложила на палас — бедняцкий ковер, у остывшего очага, отдохнуть после длинной пешей дороги.

Ныне и юрта Эльгельды не та, что прежде: поставлена кое-как, пуста. Там, где лежали кошмы, настелена чья, благо, что крепок этот камыш и его здесь много... В беспорядке валялись одеяла, стянутые узлами, из них торчала жалкая одежонка.

— Разведи-ка, доченька, огонь, да пажарь баурсаков, богу угодной еды... Все-таки я живым вернулся!

Сулув охватила дрожь, — она не узнала голоса отца. Был у него голос веселый и добрый, стал слабый и злой.

— Сейчас, отец, я мигом...

После наводнения в доме не осталось ни зернышка, ни горсточки муки. Сбежать к соседям... одолжить... да есть ли у них?

— Как же ты уберегла, доченька, хоть эти вещи?

— Я сама чуть не утонула...

— А вещи кто спас?

— Люди... пособили...

Сулув хотелось рассказать отцу, как пришли на выручку муйтены. Но вряд ли он поверит. Не стоит этого касаться.

Она налипла ему молока, пододвинула поближе лепешку. И стала кипятить чай, думая о том, как сказать бедняге, что муки для баурсаков сейчас негде взять.

— Теперь, милый, вы будете хозяйничать в юрте... куда поправитесь, наберетесь сил... А со скотом на джайлау я одна управлюсь, будьте покойны!

Эльгельды сам понял, почему дочка медлит, суетится без толку у очага. Поманив, он молча обнял ее единственной рукой... Поняла и Сулув: зима будет голодной — на каких хлебах ему поправиться? Со вздохом она приникла к его плечу. А он спросил, глядя в темный угол юрты:

— Жапак еще жив?

Сулув с болью посмотрела на Эльгельды. Последние свои силы он бережет для мести. Других стремлений, других желаний нет в его душе. Больше ему ничто не интересно, не нужно.

Всю свою жизнь Сулув любила и почитала отца. Он всегда был ей другом. А теперь... она обманывает его? Она любит и восхищается человеком, который укоротил, изломал жизнь ее отца! Грех-то какой! Она обнимала, прижимала к сердцу этого человека... Узнает отец — проклянет. Никогда перед ним не оправдаться.

— Что ж ты примолкла? — спросил Эльгельды.

Она выскользнула из-под его руки, отошла к рогожной двери и, приподняв, подставила лицо и грудь холодному ветру.

— Поди-ка сюда! — строго окликнул дочь Эльгельды.

Девушка сжалась в испуге. Стоит отцу взять за руку, велеть ей поднять глаза — и она откроется во всем...

Нежданные гости выручили ее.

— К нам идут, — сказала Сулув и отступила в глубь юрты.

Вошел Алланбий.

— Ассалам алейкум! Вернулся жив-здоров, брат наш?

Поправив на голове тельпек, отороченный дорогим мехом, одноглазый уселся около Эльгельды, поджал под толстое брюхо короткие ножки, тронул редкую бороденку и произнес молитву.

— Спас ты меня от лютой смерти, святой отец, — проговорил Эльгельды жалобно и лстиво. — Но будешь ли доволен рабом своим? Не смогу я служить тебе, как прежде... — Он кивнул на свой пустой рукав и прослезился.

— Ты однорук, я одноглаз, мы ровня! — воскликнул

Алланбий.— Только бы господь был доволен, Эльгельды! А меж мной и тобой ничего, кроме родства, быть не может. Услыхал, что ты дома, бросил все дела, поспешил к тебе... Эй, Палман, где ты там? Давай вноси!

В дверях появился Палмантаз с огромным кулем на спине. Едва протиснулся с ним в юрту. Скинул куль под ноги Сулув и полой халата стал утирать с плешивой головы пот.

Сулув с отвращением отодвинулась от Палмантаза, не замечая, как масляный глаз Алланбия ищет ее в полутьме юрты.

— Вот, брат Эльгельды, это тебе,— сказал бай, поглаживая бороду.— Хорошая белая мука. Вели дочке состряпать тебе баурсаков!

Пламя в очаге на момент вспыхнуло, и взгляд Алланбия жадно скользнул по шее и груди Сулув.

— Белая, чистая, как лебединый пух...

Эльгельды всхлипнул.

— Пусть воздаст тебе господь, святой отец. И без того мы твои неоплатные должники...

— Бери, бери! Я принес тебе свой долг, долг божий! Дарю — твоя мука...

И, благостно помянув аллаха, Алланбий поднялся.

Палмантаз, цокая языком, качая головой, подошел к Эльгельды.

— Бедняга... Ах, несчастный... Ты ли это, корешок? Что от тебя осталось! Ну и ну! — запричитал плешивый, точно над подыхающей собакой.— Диву даешься: какого здоровяка извели, какую силу истратили! О, господи... А ведь Жапак-муйтен, который тебя изувечил, героем ходит, хвастает удалью! По сей день!

— Жа-пак? Хвастает?

— И за такое нахальство муйтены выбрали его правителем в ауле! Вон до какого срама дожили... Ты не слышал разве? Ну, и то ладно, что вернулся домой. Жив — и слава богу!..

Палмантаз покряхтел, отряхивая полу халата, и пошелся за своим хозяином.

Как только их шаги стихли за юртой, Сулув бросилась к отцу, горячо обняла.

— Милый, родной мой! Не бери у них муку, откажись! Пусть унесут ее обратно, умоляю тебя, отец!

Эльгельды слабой рукой отстранил ее.

— Что такое с тобой? Почему?

— Там, на холме... наши односельчане, раздетые, разутые... голодные! Живут в землянках... Дети умирают!

— Что поделаешь... Мы такое видывали не раз.

— Алланбий не дал им даже горсточку сушеной икры! А они день и ночь работают на него, себя не жалея... Чем мы лучше их? За что Алланбий награждает нас? Целый мешок муки... Подумай! Наши соседи пухнут с голода, а мы будем жарить баурсаки,— этакое только баю придет в голову!

— Но, доченька, ежели он захотел проявить милость к нам...

— Не надо нам милостей! Мы ему не чета. Кто знает, что он задумал. Нам на роду написано — держаться своих. А у нашего брата сейчас каждое зернышко на счету.

— Неужто никто ничего не припас к зиме? Не верится...

— Унесла вода. Дожить бы до зимы.

— Это божья кара за наши грехи,— сказал Эльгельды печально.— За то, что не держимся закона, расповалили муйтенов!

— Отец, дорогой,— с горечью выговорила Сулув,— поди посмотри своими глазами... Это муйтены отдали нам свои одежки! Муйтены делятся с нами сушеной навагой! Не Алланбий, святой отец,— муйтены, грешники! Что бы с нами было, кабы не они?

Эльгельды приподнялся на локте, изумленный и разгневанный.

— Муйтены, говоришь? Это правда?

— Клянусь тебе...

— Вот оно что! — проговорил Эльгельды сквозь зубы.— Милостыней хотят смыть с себя мою кровь... И ты еще хвалишь их? Мало тебе нашего позора? Все равно не дождутся они моего прощенья!

Сулув вскочила, отошла к двери, выглянула из юрты.

Над степью шелестел дождь. Ветер рябил унылые осенние лужи.

И тут Сулув впервые в жизни послушалась отца. Схватив куль с мукой за угол, она поволокла его вон из юрты и бросила под дождем.

— Сулув? Рехнулась, девка... Назад! — слабо прокричал Эльгельды.

Она вернулась и покорно припала к его ногам, готовая принять любое наказание.

— Так надо, отец... Так надо, мпый...

ВЫСОК ТЫН АЛЛАНБИЯ

Зачастили дожди вперемежку с мокрым снегом. Солнце редко показывалось из-за туч. Степь потемнела.

Там, где еще недавно стоял аул киятов, плескалась мутная вода. Ветер волочил над ней дым чадящих костров.

Земля размякла, потекла. Такыр, где обычно собирались сходы, превратился в сплошное месиво — грязь по колено.

Сегодня с утра здесь не утихал шум и гвалт. Посередине такыра высилась куча поношенной одежды, домашней утвари. И куча все росла. Один нес вязанку камыша, другой — мешок с кпзяком, третий — шесты для юрты, четвертый — кошму, циновку... Все это бросали к погам Жапака.

— Берн, председатель... раздавай, кому пужно!

Кругом толпились, ожидая дележа, кияты.

Подошел старый рыбак-муйтен, с трудом вытаскивая сапоги из лишкой грязи. Не один год он выходил на рыбную ловлю старшим на передовой лодке, и его так и звали — Аджинияз-старшой. Он принес связку сушеной наваги и длинное копье с железным наконечником.

— Народу отдай, не жалей, он сторицей вернет! — проговорил Аджинияз-старшой. — А что, братец Жапак? Время дорого. Обсудил бы с народом, что задумал! Дельно задумал-то...

— Люди! — сказал Жапак. — Вы слышали слова Аджинияза-старшого. На первых порах кое-как вы продержитесь, пропасть не дадим. А дальше? Как жить будете? Зима на носу!

— Айда с нами на озеро! — добавил Аджинияз-старшой. — Лодки, сети — наши, улов поделим. У рыбака, правда, то густо, то пусто. Муйтены никогда сытыми не были, но и с голоду не помирали... Айда вместе, одной артелью! Глядишь, ветерком соленым повывудет из нас прежнюю-то дурь.

Кияты помалкивали. Топтались на месте, не глядя друг на друга. А иные стали потихоньку отходить в сторону, подальше от греха.

— Что притихли? — сварливо закричала пожилая женщина, выступив вперед. — Люди в такой несчастный день открыли перед нами свои двери. А мы? Носы воротим!

Доброе слово мертвеца оживит. Спасибо вам, муйтены, спасибо! И то сказать: все мы дети Кунграта!

Уббинияз, подпоясанный поверх ватного халата сырой камышинкой, ответил веско:

— Ладно говоришь, Калчабу. А кричишь зря!

Но Калчабу вновь закричала:

— Взвоешь, милый, как детшки некормленные повиснут на твоём подоле!

— Ну и ступай, положи подол в Муйтенкуле! — насмешливо отозвался кто-то из-за ее спины.

Толпа киятов редела. Молодой пастух в казахской шапке пошел прочь и повел за собой жену.

— Говорил я тебе: сойдешься с муйтенами — вмиг рыбаком станешь...

Вслед за ними пошла другая молодуха, накинув на голову пустой мешок, та самая, которая швырнула Степану в лицо фальшивые порошки...

— Неужто же у нашего святого отца не найдется куска хлеба для нас, сирот? Да лучше я подберу объедки на байском дворе, чем стану делить еду с нищими муйтенами! — И она смачно сплюнула.

За ней потянулись двое стариков, вознося руки к небу.

— Щедрость святого отца не знает границ... Он только мигнет — и прокормит тысячу...

— Дурни вы, дурни! — сказал им вслед Уббинияз. — Гляньте, высок тын Алланбия! Не перелезешь. По мне — лучше войти в открытые двери.

— А есть у муйтенов двери-то? И дверей-то нет! — ответил издали калымщик. И, смеясь, закинул за плечи пустой мешок, точно хотел сказать: «Вернусь с полным».

Многие смотрели с завистью ему в спину. Уверен человек — стало быть, милостив к нему бай. А уж если бай захочет, наградит по-хански убогого раба своего. Слава богу, у Алланбия всего полно, амбары ломятся.

Жапак стиснул зубы. Опять святой отец незримо встал на его пути. Сам на люди носа не кажет, а мутит, сбивает народ с толку. Прав был Степан. Он предвидел и это... предостерегал... А как, как обойти Алланбия?

Муйтены хмурились. Конечно, обидно.

— Сколько ни делай добра, кияты свое — все равно наплюют на твою соль... — шепнул Жапаку Аджинияз-старшой.

Того и гляди разгорится прежняя безумная вражда. А Жапак останется ни в тех, ни в этих... Что бы сделал сейчас Степап? Ему не до того. Выживет ли, бедняга? А поправится — выбранит в сердцах за нерасторопность. «Затем ли, безмозглого, тебя выбрали?»

— Отец Уббинияз, что скажешь? — спросил Жапак.

— Скажу одно: не все княты попрошайки! Как встречаются на байском дворе, мы насмотрелись досыта, а что делается здесь, на такыре, сроду не видывали... Вот мое слово!

— Ампын! Дели имущество! — скомандовал Жапак. — У кого детишек больше — подходи ближе. Посмотрим, кто щедрее, кто милостивее — бай или народ!

И такая была вера в его голосе, что настроение разом переменилось и у княтов и у муйтепов.

Кто имел, опять понес в общий котел, а нуждающиеся брали без жадности, не завидуя один другому.

Между аулом муйтепов и становищем княтов по сырой земле протянулось множество тропинок.

Неожиданно выглянуло солнце, степь посветлела, потеплела, от земли пошел густой пар, и дети княтов выбежали из юрт муйтепов, где их приютили сердобольные матери, поиграть под косогором на солнцепеке.

Насчет главного порешили без спора, не сговариваясь, молчком, взялись сообща чинить рыбацкую спась. Старик княты, в жизни своей не державшие в руках удилица, расселись у сетей, развешанных на кольях, — учиться их латать. Наука немудреная, дело пошло! И пошло веселье, за шутками, за смехом, казалось, забыли про голод. Когда душа сыта, и брюхо не так урчит.

Между тем вернулись два старика, ходившие на поклон к Алланбю. Вернулись, пряча пустые мешки за пазухами.

Их тотчас заметили, но не показали вида, — мало ли кто где ходит...

Пройдя стороной, старики подобрался к Уббиниязу, который прилаживал древко к остроге, и смиренно уселись возле него, поджав ноги. Уббинияз усмехался в бороду, не глядя на них. Молодые ребята собрались было позубоскалить над попрошайками — Уббинияз прогнал болтунов.

— И верно, мы дурни, — сказал один из стариков.

— Святой отец из вши кровь высосет, — добавил другой.

— Ему легче душу богу отдать, чем протянуть голодному милостыню. Зимой снега не выпросишь... А у самого в чулане рыба гнет.

— Господи! И во двор не впустил... Увидел меня, закричал: «По твоей вине уплыло две тысячи снопов моего камыша! Теперь будешь девяносто дней косить мне камыш!» Управы на него нет...

Уббинияз неторопливо отложил серп, которым обтесывал древко.

— И других он так же встретил?

— Другим, говорят, мешками отваливает муку.

— Кому? Когда?

— Люди видели: Алланбий сам отвез Эльгельды куль муки, самой что ни есть белейшей! Почему мы и кинулись сдуру к его ногам...

— Ну, Эльгельды — тот его верный пес, — заметил Уббинияз, снова берясь за серп.

Старики заговорили наперебой, словно споря друг с другом:

— А я? Чем я хуже Эльгельды?

— Тем и хуже, что у тебя нет дочки!

— Известное дело: отвесит еще батман муки и уведет девку...

— А ты как думал? Полный расчет!

— Эльгельды служил ему всю жизнь, отдал руку, — пожалеет ли девку!

— Служил он, и она послужит святому отцу...

Подошел Жапак. Он слышал разговор, и Уббинияз встретил его виноватым взглядом, словно считал себя в ответе за Эльгельды. Но Жапак казался спокойным. Он ничего не сказал старикам. Удивительно, как повзрослел этот парень за последние несколько дней!

— Отец Уббинияз, я к вам за советом. У нас на плаву двадцать четыре лодки. Собирайте охотников — завтра с рассветом на озеро.

— Охотники найдутся, — ответил Уббинияз, отводя Жапака в сторону. — А мне самому нужен бы совет...

— Хватит ли у меня ума, отец?

— Сын мой, ты теперь нам голова, па тебя надежда... Не вышел я сегодня работать на байскую маслобойню. Как думаешь, проживу я со своими желторотыми? Не придется опять лизать сапоги одноглазому?

— Не придется, отец. Врозь пропадем. Вместе выдюжим!

— Думаешь?

— Не сомневайся. Сомнение — оно кости ломит похуже безгака.

— Вон как ты говоришь...

— Был я вчера на той стороне реки. Степан посылал. Там везде аулсоветы... Видел я издольщиков Турдымурата. Они давно перестали работать на байских полях. Живут — не тужат без бая!

— Так ли?.. Глянуть бы на них хоть одним глазком.

— Там знают про нашу беду. Обещали прислать нам сыру, молотого риса. Надо бы и их отдарить рыбой — она у них редка, рады будут.

— Помоги господь ее изловить, рыбу-то... и пошли тебе, сынок, счастья!

— Мне со Степаном дайте родительский наказ, отец. Поплывем с ним в Муйнак. Попросим у советской власти зерна. Степан говорит: дадут.

— Плывите, милые, плывите... И ты не бойся, сын мой, я сам посторожу Сулув, уберегу девку...

Жапак покраснел, опустил голову, но сказал твердо:

— Я не боюсь, отец. Сулув нельзя ни купить, ни продать.

СУМЕРКИ В КАМЫШАХ

Сулув легко подняла на руки барана, вожака отары, и перенесла его через арык. За вожаким потянулась вся отара. Бросив быстрый робкий взгляд на отца, Сулув юркнула в камыши.

Эльгельды, безразличный к разбредшимся овцам, присел на кочку, положил двустволку на колени.

Он все так же молчалив. С утра до ночи ни с кем не обмолвится словом, бродит и сидит один, раздумывая о своем, точно глухонемой. Оживляется ненадолго, лишь когда приходит домой Сулув.

Сегодня он не усидел в юрте, упросил дочку взять его с собой в степь. Но и там не встряхнулся от своей дремоты. Ружье взял по привычке, носил его, как палку. И если под выстрел набежала бы огненно-рыжая лисица, в глазах Эльгельды вряд ли зажегся бы азартный огонек, как бывало.

Дочка держала отару поблизости от Муйтенкуля. Эльгельды и на это не обратил внимания.

Со стороны озера слышался топот копыт. Лихо под-

скакал Палмантаз, кубарем скатился с седла и, сунув плетку за голенище сапога, остановился перед Эльгельды.

— Здорово, кум! Объезжал я табунчиков, гляжу... си-дишь, как ястреб с обломанными крыльями... Не узнать тебя, брат, право, не узнать!

Эльгельды не отвечал. Палмантаз присел рядом.

— Измочил ты дареную муку под дождем, м-да... Но Алланбий не в обиде. Знаем, чьего это ума дело. Видим, размякло у тебя сердце!

Эльгельды и тут не повел бровью.

— Чураешься народа. Оно понятно: чувствуешь свою вину. Растоптал ты честь киятов — щадишь кровного обидчика. Конечно, трусом тебя назвать нельзя — ты увечный... Да люди толкуют иное! Зря, говорят, ждали его; не руку он потерял, а совесть...

Эльгельды поежился, отворачиваясь.

— А главное,— продолжал Палмантаз, причмокнув бледными губами,— Жапак разошелся. Поверишь ли, при всем народе похвалялся, что уведет у тебя дочку... а босяки-муитены слушают и гогочут! Кликну, говорит, сама прибежит, а отца — прогоню...

Эльгельды схватил Палмантаза за грудь слабой рукой.

— Врешь, пес!

— Спроси у нее, милый мой, зачем она не отходит от озера? Где она сейчас, знаешь?

Эльгельды испуганно и жалобно глянул на Палмантаза, промычал печленораздельно и, подняв с земли двустволку, побежал на шатких погах в камыши.

Палмантаз ухмыльнулся вслед, подмигнул слезящимся глазом и вскочил на коня.

Эльгельды выбрался к низкому заболоченному берегу озера. Пожелтевший камыш стеной стоял вдоль берега. Увязая в топкой чавкающей под ногами грязи, раздвигая коленями острые стебли осоки, старый пастух нетерпеливо осматривался, ища свою Сулув.

Неподалеку послышался плеск воды. Эльгельды неслышно вошел в воду, протискиваясь сквозь заросли камыша. Свет закатного солнца ударил ему в лицо, на миг ослепил. А потом Эльгельды увидел в конце узкой ленты воды, сжатой с боков шелестящими шпалерами камыша, две лодки — большую и маленькую. В большой сидели двое мужчин. Эльгельды тотчас узнал Жапака, другой был, видимо, русский. В маленькой лодке стояла, опираясь о шест, Сулув.

Эльгельды хотел крикнуть и не смог.

Ему не было слышно, о чем они говорили с дочкой. Жапак сидел на веслах. Но вот он поднялся на ноги. Сулуп толкнула к нему шестом свою лодку и... обняла парня. Кинулась ему на шею!

Русский отвернулся. А Жапак опустился перед Сулуп на колени, обхватил ноги, прижался к ним лицом. Она выпрямилась, закинула назад голову, счастливо смеясь...

Господи помилуй! Прощались они, что ли? При чужом мужике, не таясь... Бесстыдство какое!

Сердце захолонуло в груди Эльгельды. Он стоял не дыша, опираясь рукой о ружье, увязшее прикладом в тине.

И вдруг над камышами гулко прокатился выстрел.

Лодки качнулись на воде. С головы русского слетела шапка. Эльгельды видел, как Жапак силой принудил Сулуп пригнуться. Но она вырвалась из его рук, быстро осмотрелась, схватила шест и стрелой полетела в легкой лодчонке к берегу, прямо на Эльгельды.

Раздался второй выстрел. Вновь долгое эхо покатилося, запрыгало по камышам. Эльгельды обернулся и увидел в нескольких шагах позади себя Эримбета с черным, блестящим на солнце пистолетом в руке.

Сулуп была уже на берегу. Эльгельды не успел даже протянуть руку, чтобы удержать ее. Она, подобно ужу, скользнула мимо него сквозь густой камыш и, не поднимая крика, не разжав зубов, кошкой метнулась к Эримбету.

Он упер ей в грудь пистолет, зашипел:

— Застрелю! С-сука!..

Эльгельды невольно зажмурил глаза. Когда же он открыл их, Сулуп сидела на Эримбете верхом, рука его, державшая пистолет, была вывернута за спину, а девушка, вцепившись джигиту обеими руками в волосы, тыкала его лицом в грязь и приговаривала:

— Из-за спины, змея... змея...

Ему все же удалось сбросить девушку с себя, он пихнул ее ногой в живот и пустился бежать в камыши. Сулуп погналась за ним.

С треском подминая под себя камыши, подплыла лодка Жапака. Выскочив на берег, Жапак встал против Эльгельды и раздвинул перед собой осоку, чтобы тот его лучше видел. Сказал спокойно:

— Что же, стреляйте, отец. Прежде вы не промахивались... Заряжайте оба ствола!

Эльгельды не в силах был вытащить из тины ноги. Показав кивком себе за спину, он выговорил, задыхаясь:

— Там она... застрелит он... Скорей!..— И протянул Жапаку двустволку.

Парень все понял, ударил себя кулаком в грудь, заревел и по-медвежьки вломился в чашу камыша.

Подошел Степан, взял из рук Эльгельды ружье, осмотрел. Оно было заряжено, но оба ствола чисты, как стеклышко, а приклад в тине.

— Та-ак,— сказал Степан и пошел следом за Жапаком, на ходу взводя курки.

Вскоре, однако, они вернулись втроем — Жапак, русский и Сулук. Эльгельды еще издали слышал их возбужденные голоса. Он присел на борт лодки, стараясь отдышаться. Увидев его, они притихли.

Сулук подобрала в зарослях пистолет Эримбета, подошла к отцу, сказала виновато:

— Сбежал. Царапается, как баба...

Эльгельды будто не слышал.

Подошел Степан, кашлянул для бодрости, почесал ключую бороду.

— Собирались мы в Муйнак, отец. За хлебом для пострадавших. Думаю, привезем хлебца... Это раз. Теперь второе: нужно бы с нами ехать кому-нибудь из киятов. Отец Уббиняз остался в ауле за старшего. Может, ты поедешь... депутатом от народа... А?

Эльгельды выслушал, подождал, не скажет ли русский еще чего-либо, и поднялся с тяжелым вздохом. Взял из рук Степана свое ружье, постоял понуро и, не сказав ни слова, не глядя ни на кого, пошел прочь. Сулук, так же молча, опустив голову, пошла за отцом.

Сгустились сумерки. На озере заметно похолодало. Ночь предстояла студеная, ясная. Жапак и Степан вошли в лодку и оттолкнулись от берега.

ПОСЛЕДНИЙ РАБ, ОДНОРУКИЙ..

Трое суток Эримбет скрывался в камышах, а на четвертую почь, трусливо обходя костры у землянок, остерегаясь аульных собак, подобрался к юрте Эльгельды.

Красивое, холеное его лицо покрылось мелкими гноящимися прыщами, обросло кабаньей щетиной — с нее ска-

тывались капли росы. Три дня думал, но так и не смог додуматься Эримбет, почему тогда, на озере, Эльгельды не поднял своей двустволки. Стрелок отменный, не промазал бы и с одной рукой. Случай был редкостный, расчет наверняка: старик — в Жапака, Эримбет — в русского. И концы в воду.

Оробел старик, устал? Вряд ли. Эримбет слышал, как он скрипел зубами. У него была гангрена, а он выжил. Эти пастухи выносливы и свирепы, как волки в голодную зиму. Неужели простил старый кровного врага? Простил дочь?.. Не может быть!

Эримбет прислушался. В юрте спали. Старик изредка всхрапывал во сне. Ночь удалась: кругом глухо, неба не отличить от земли. Эримбет неслышно обошел юрту, присел у входа.

Но когда он бесшумно приподнял рогожную дверь, из юрты донесся ясный голос Эльгельды, точно там ждали гостя:

— Эримбет?.. Зачем пришел? Рыщешь по ночам, как шакал. Уходи, покуда цел!

— Встань-ка, Эльгельды, и не кричи,— прошептал Эримбет, вползая в юрту.— Мне надо сказать тебе кое-что...

От очага исходил слабый свет. Эльгельды лежал спиной к Эримбету. А Сулув, казалось, не было в юрте — так легко было ее дыхание. Эримбет не различал ее в полутьме, но и она, конечно, не спала, слушала, не вмешиваясь в разговор мужчин.

— Я знаю, что ты мне скажешь,— спокойно проговорил Эльгельды, не поворачиваясь к Эримбету.— Сперва хотел убить из-за моей спины, теперь хочешь спрятаться за мою спину. Мудрец!

— Но разве мы чужие? — возразил Эримбет.— И разве не должна была моя рука совершить суд божий, если твоя ослабла?

Эльгельды усмехнулся.

— На словах ты намного ловчее, чем на деле...

— Признаю. В этом моя вина! Однако вспомни, кто мне помешал... Твоя дочь преступила законы предков. Впрочем, она молода, я не осуждаю... не виню...

— Нынче, господин мой,— перебил Эльгельды,— не в твоей воле судить, не твоей руке карать. Вот как оно вышло! Наперед советую: дочке под горячую руку не попадйся — пришибет, не приведи аллах!

Эримбет на минуту прикрыл ладонью лицо, скрывая приступ бешеной ярости, прикидываясь удрученным.

— Тебя ли я слышу, отец Эльгельды? Тебя ли, человека, которого я не пустил в могилу, когда другие уже похоронили!.. Бесчувственного, истекавшего кровью, всеми брошенного, отправил в больницу, против воли бая, на его лучшем коне... или это не ты был? Конечно, теперь иное. Теперь я в твоих руках. Ты единственный, кто видел, как я... н-неловко стрелял...

— Ну, видел.

— Если ты скажешь: «Не знаю и не ведаю»...

Эльгельды повернулся наконец к Эримбету, крихтя и вздыхая.

— Ах, господин, господин, добрый господин! Не я тебя загнал в камыши. Новый страх тебя гонит, новый закон! Меня ты не бойся. Твой пистолет я велел выбросить в озеро.

— Спасибо.

— И тебе спасибо,— ответил Эльгельды с насмешкой.— Вот уж спасибо, что не бросил дочку одну, отослав меня в больницу. Пришел навестить в первую же ночь... Думал, отблагодарит дуручка-пастушка за отца! Что же, полакомился девкой? Угостила она тебя, благодетеля?

— Что было, то было... грешен...— пробормотал Эримбет.— Но я бы жевился на ней, если б она не была так строптивая!

Старый пастух презрительно улыбнулся, устало откинулся на спину.

— Все вы одинаковы, хоть ты, хоть Алланбий!

Вероятно, благородный Эримбет был искренне возмущен, когда внезапно крикнул в запале, теряя терпенье:

— Но я же тебя спас, неблагодарный, а он чуть не погубил! Это же Алланбий приказал своим людям изрезать сети муйтенов и кинуть скоту под копыта на водопое! Он подстроил резню!

— За-а-чем?..— ошеломленно выговорил Эльгельды.

Тут только сообразил Эримбет, что проболтался, и прикусил язык. Даже Сулув зашевелилась в своем темном углу. Эримбет закашлялся, стараясь выиграть время. Ничего в голову не шло! Он не понимал, перестал понимать, как нужно говорить с мусульманином, единокровным братом... А Эльгельды сказал неслыханное:

— Все вы сволочи! — И вдруг затрясся, задержался,

вахрипел, слизывая с усов редкие слезы, выставив вперед единственную руку. — Ох, какая сволочь!

В ту же минуту Сулув оказалась возле отца, а Эримбет отпрыгнул к двери.

— Скажи ему, доченька: если он не уберется куда подальше, я его сам изловлю и выдам!

Ночной гость тотчас скользнул за дверь.

Эримбет побежал напрямик к Алланбюю, поднял его с мягкой постели.

— Мне не удалось договориться с однорукиком.

— А что тебе, пустобай, удалось? Уходи!.. Пока еще не рассвело... Возьми, что тебе нужно, и уходи.

— Позволь хоть отогреться. Четвертые сутки без крышп, без огня... зуб на зуб не попадает, изголодался. Невозможно собраться с мыслями...

— Кому нужны твои мысли? Ты свое сделал... Дранный вонючий рыбак, который прежде не смел подойти ко мне, если его не подзовут, вваливается в мой дом, как в свой, без поклона, и еще допрашивает меня, точно он правитель или бай! Ты меня довел до такой жизни, пустомеля.

— Время ли сейчас считаться, дядя?

— Убирайся с моих глаз! Выстрелить толком не сумел, губошлеп! Умей хоть спрятаться. Если тебя увидят, найдут в моем доме... Ты знаешь, что Колесов арестован?

— Не может быть!

— Сейчас все возможно. Мои же рабы разнесут мой дом в щепы... В жизни своей не упомяну такого! Дни Турдымурата пали на мою голову. Весь аул смотрит на меня волком. Я опозорен, обесчещен! Этот мальчишка, безродный щенок, голодранец Жапак усадил все-таки муйтепа и княта в одну лодку... Чудо? Не верится?.. А кто ему подсобил, подыграл своими правоучениями? А русского — после того, как ты промазал, — охраняют, точно святого! Говорят, по нужде одного не отпускают...

— Проклятье!

...Жапак и Степан привезли из Муйпака четыре лодки, груженные мешками с зерном. Провожатого дали одного, — едва выгребли втроем. На другой же день большая часть поденщиков Алланбюя не вышла на работу. За ними потянулись пастухи, издольщики, калымщики... Каждое утро работников у бая становилось меньше, а шло только третье утро! Одна из маслобоен встала; из сарая, где разделывалась рыба, несло мушиное гудение, людских голосов не слышно; верблюдицы ходили недоеные.

Один Палмантаз, байский утешитель, признанный весельчак и шут, не унывал: в том, что люди не хотят работать на бая, он видел смешное происшествие, чуть ли не розыгрыш.

По утрам плешивый являлся к баю, по обыкновению держась за живот.

— Ох, лопну... уморят они меня! Помру от смеха, клянусь! Жрать нечего, дети ревут, бабы пухнут, а они... Сидят в одной лодке, ну, ровно собака с кошкой. Муйтен — сюда, кият — туда! Тот — направо, этот — налево. Слыхом не слыхивал про такое баловство. А ведь все он, Жапак, его проделки, ах, черти б его съели! Вот шутник! И что они с ним сделают, как очухаются? Лопну, я говорю, лопну...

Палмантаз и сегодня пришел, хихикая и балагурия, но, увидав Эримбета, запнулся на полуслове.

— Ну, посмотрим, однако, чья возьмет,— проговорил бай, щуря свой глаз, палитый кровью, точно у кролика.— Хватит ли у Жапака ржи переманить моих рабов, которых я выкормил с пеленок!.. Палман, сейчас же собери пастухов, объяви, что будешь раздавать муку всем, кто придет к моему порогу! И рыбу... ту, которая подгнила в чулане... Потом сбегай, позови ко мне Эльгельды. Я-то с ним живо сговорюсь... Посмотрим, что будет!

Плешивый, потирая руки, хлопнул себя по ляжкам, побежал исполнять приказ бая. А Алланбий отправился сам в обход черных юрт своих рабов.

В таком гневе святого отца не видели со времен, когда он был еще правителем. Кормилец и благодетель был вне себя.

Пространно выбрав конюхов, известных лодырей и дармоедов, Алланбий погнал их на маслобойню. Ворвался к валяльщицам кошм. Устроил и там полнейший погром. Всех баб выгнал доить верблюдиц и чистить икру. Попутно распорядился, чтобы табунщикам в горы, на джайляу послали бурдюк с кунжутным маслом и два мешка ржаной муки.

На пороге большой юрты, в которой женщины ткали коврики, Алланбий столкнулся с Бибикатчей. Этой толстозадой все нипочем. Она по-прежнему занята своим: сторожит, чтобы Алланбий не загляделся на какую-либо ткачиху. Упаси боже, если Бибикатче что-то померещится, уж той несчастной не будет жизни! Люта байская супруга. Живьем в гроб уложит.

Аллабий, сплюнув, отошел. Знала бы Бибикатча, какая птичка у него на примете! Не чета грязным ткачихам. Придет час, сплавит Аллабий долговязого, доберется и до Сулук. Кому, как не баю, обломать ей крылышки?! «Зря юлишь, Бибикатча, зря шпионишь, бесстыжая! Не миговать тебе своего удела. Быть в доме второй, молодой. И один дьявол знает, кто из вас кого укоротит...»

«Пусть только явится Эльгельды-кыят, — думал Аллабий, возвратясь в свою юрту. — Все одним махом и решу! Нечего тянуть».

Эримбет спал, укрытый с головой несколькими одеялами. А Палмантаз не возвращался. Где он запропастился? Зубоскалит где-нибудь, подлец.

— Пусть только явится Эльгельды! — шептал себе Аллабий, прихлебывая из касы пенящийся кумыс. — Пусть только явится однорукий!

Приоткрылась дверь. Боком вошел Палмантаз и остановился у двери. Он был необычно серьезен, озадачен.

— Где он?! — закричал Аллабий, вцепившись в овчину, на которой сидел.

— Где ж ему быть? У себя, в вонючей норе...

— Ну, так что же? Чего ты мнешься?

— Странно он говорит, святой отец... «Спасибо, говорит, святому отцу за мою жизнь. До смерти и после смерти, говорит, не забуду...»

— Ну? Дальше что?

— «А если, говорит, святому отцу нужно, пускай сам ко мне придет, на своих, говорит, байских пожках...»

— Что? Ты к кому ходил, дурак?

— К Эльгельды, святой отец, к Эльгельды...

Аллабий вырвал из овчины клочок шерсти, вскочил.

— Это он так сказал?

— Ой, святой отец, он, твой однорукий раб!

Эримбет беззвучно смеялся, высунувшись из-под одеял.

ЮРОДИВАЯ КАЛДЖАНГУЛЬ

За службу у бая пастуху позволялось доить одну из коров. Она кормила пастуха. Аллабий велел увести корову со двора Эльгельды. И стало совсем худо.

Приходил к Эльгельды давний приятель и сверстник Уббиняз, уговаривал его:

— Выйди к людям! Заблудившегося волки съедят!

— К людям? Теперь кияты под властью у муйтенов... — отвечал Эльгельды.

Этого порога он не мог переступить.

Уббинияз хвалил Жапака. А Жапак стал для Эльгельды еще нетерпимей, чем прежде, — он отнимал у него Сулук! Пока с ним дочка, красавица, джигит-девушка, первая в ауле и на всей кунгратской земле, он — человек. Он — отец Сулук! А что такое он без нее? Тосковал старый пастух. Великое горе свалилось ему на душу — горе упрямого одиночества. То, чем он жил с детства, ушло безвозвратно. Не гулять ему больше по вольной степи на коне, не вымячить весной ягненка, не спасти отару овец или косяк лошадей во вьюгу от волчьей стаи! А чем еще жить?

Он все отдал — молодость, силу, честь... А кому отдал? Бесчестному баю, злому человеку, худому хозяину. Пусть бы взял Алланбий его труд, умение, неистовую преданность, готовность жизнь положить за породистого жеребенка или каракульскую овцу. За что искалечил, изломал?

Нынче он всем чужой, сирота. Нет у него ни родичей, ни друзей. От своих отбился, к чужим не прилепился. Ни в тех, ни в этих, не муйтен и не кият... Один, как отрубленный палец!

А однажды уйдет и Сулук. Она уйдет... Так должно быть, так будет. Этого не миновать. Это не ее вина... И виделось Эльгельды, как он бредет по длинной дороге, из аула в аул, сутулый, тощий, запыленный, с пустым, болтающимся на ветру рукавом, с нищей сумой. Собаки далеких, чужих аулов брешут и кидаются на его корявый посох, и никому нет дела до нищего бродяги. Мало ли их на белом свете! Конечно, дочка не бросит его. Но голод уже смотрит им обоим в лицо. Видно, на роду Эльгельды написано — побираться на старости лет. Брюхо не ждет, оно жадно, как бай...

Охрипший, гнусавый голос вывел Эльгельды из раздумья. «Господи, помилуй... Кто это?» Эльгельды поспешно поднялся с кошмы, выбежал из юрты. Неподалеку, разложив на овчине сухой верблюжий помет, старуха юродивая гадала двум женщинам.

«Вот она, моя судьба...» — сказал себе Эльгельды, вздрогнув от суеверного предчувствия. Юродивая разделила помет на три кучки и заговорила с духами. Голос у нее сильный, страшный. Женщины слушали ее с трепетом, но не отходили.

— На твою голову выпало три шарика. Ежели создатель примет тебя рабой своей, будет тебе радость, родная. А вот золотые шарики меднокопытного. Будь покойна, двери твои закрыты для нечистого...

Помянув имя божье, старуха встала и пошла к юрте Эльгельды. А он невольно попятился, глядя на ее трясущийся, острый подбородок, голую иссохшую грудь. Остановилась и она, заметив Эльгельды, и испуганно подняла свою палку, точно обороняясь от собаки.

— Кто ты — человек или пес?

— Иди, иди, не бойся...

Она опустила палку.

— Покажи мне усадьбу Алланбиа, раб божий.

Он показал молча, коротким жестом руки. Но она не уходила. Стояла, тяжело опершись о палку, сверля его маленькими, черными, точно капельки смолы, сумасшедшими глазами.

— А где твоя вторая рука, Эль... Эльгельды?

Он немо разинул рот, схватившись рукой за грудь.

— Калджангуль... — прошептал он, бледнея, будто столкнулся среди бела дня с духом.

— Я самая. Юродивая Калджангуль. Восемнадцать лет, как я юродивая Калджангуль... Слышала, будто зарезали тебя муйтены, да вижу, ты живой, слава богу! — И старуха опустилась на колени, чтобы прочитать молитву.

«Она, она!» — твердил себе Эльгельды, с содроганием глядя на ее босые ступни, почерневшие за восемнадцать лет жизни без крова и приюта.

Помолясь, старуха приблизилась к Эльгельды и спросила, боязливо озираясь:

— Жива?..

Он задрожал и тоже огляделся, точно вор, отвечая:

— Да, Калджан... жива... Как поживаешь? Все бродишь?

— Это не я, доля моя бродит, Эльгельды. Завидев меня, собаки не лают, а воют, как волки над падалью. Именем моим страшат детишек и баб глупых... Нет мне смерти! Вот и странствую из аула в аул, шатаюсь из края в край... Если белая собака оценит черного щенка, ее поскорей убивают; думают, это она меня родила. Если человек невзначай назовет мое имя, потом три дня ходит с закрытым ртом... — Старуха склонилась к уху Эльгельды. — Покажи-ка мне ее!

Он отшатнулся. Давно забытое всплыло в памяти. Много лет назад, когда Эльгельды водил по горным пастбищам табуны Алланбия, годами не показываясь в ауле, среди табунщиков появилась юродивая женщина. Она несла, прижимая к груди, годовалого ребенка, девочку, завернутую в лохмотья.

Табунщики сразу узнали в ней одну из рабынь Алланбия, но никак не могли дознаться, чей у нее ребенок. У женщины поминутно мутился рассудок, и тогда она путала людей с конями и предлагала табунщикам попасться на траве. В минуты просветления бедняга рассказывала, проливая слезы, как Алланбий бил ее сапогами по голове. Это и была Калджангуль, некогда красивая, веселая девушка, певица и затейница игр.

Жену Эльгельды томила бездетность, и она отобрала ребенка у юродивой, приютила у себя. Девочка оказалась чудесная, здоровенькая, бойкая, смешливая. При первом взгляде все называли ее Сулув, что значит Прекрасная... Так это имя и осталось за ней. А Калджангуль исчезла с пастбища так же внезапно, как и появилась. С тех пор Эльгельды ее не видел, только изредка слышал рассказы про нее.

Сулув минуло три года, когда жена Эльгельды померла, застудившись при переправе через горную речку, вспухшую после осенних дождей. И он забыл, давно забыл, что дочка у него приемная. Теперь все восставало в нем против этого напоминания.

— Калджан, я прошу тебя, ты не трогай Сулув. Иди себе своей дорогой... Мне недолго осталось, и я такой же, как и ты... Никого и ничего у меня нет, кроме Сулув. Я не отдам ее.

— Успокойся, чудак-человек,— ответила старуха.— Думаешь, она дочь мне? Я обманула вас тогда, побоялась сказать правду. О, господи... Слушай, что скажу. Она дочь правителя Алланбия!

Эльгельды усмехнулся про себя: заговаривается сумасшедшая, забредила... Но она смотрела спокойно, здраво, даже вроде бы виновато. И он почувствовал, что ноги подкашиваются.

— Слушай дальше, человек... Была у Алланбия когда-то мастерица-ткачиха, ловкая девка, веришь ли, редкой красоты, подобная луне. Мы все завидовали ей. Звали ее Бибикатчей. В один год у Алланбия вдруг померли одна

за другой две молодые жены, и он стал волочиться за той ткачихой, рабыней...

Эльгельды припомнил: действительно был такой случай, за одно лето бай свел в могилу двух жен.

— Одна я знала, что Бибикатча должна родить. И вот родила, бедняжка... Ночью, когда она лежала, еще не обмывшись, без сил, ничего не соображая, Алланбий велел взять у нее ребенка и отнести в дикую балку Кучук-кеткен... бросить там на погибель... Ребенок от рабыни, к тому же девчонка... Это был позор для бая!

Ошеломленный тем, что слышал, Эльгельды пробормотал бессвязно:

— Будет тебе... Молчи... Шла бы ты отсюда, Калджан... Не надо, иди...

Она закончила с гордостью:

— Я подобрала своими руками и убежала с ней из усадьбы Алланбия! Дальше ты знаешь, Эльгельды... Скажи хоть, какая она? Говорят, всех краше! Правда ли, что хороша?

Он смотрел со страхом. «Вот она — моя судьба...» — повторял он. Вчера Алланбий отобрал корову, кормилицу. Завтра велит отдать дочь, единственную радость.

Старуха заметила его растерянность, сказала смиренно:

— И ты тоже чуждаешься меня, раб божий? Грешно тебе, Эльгельды. Подал бы хоть кусок хлеба.

— Калджангуль... не сердись на меня... Не поминай лихом. Нечего мне дать... Господь тебя отдарит.

— Много нас у господи-то! Эх ты... однорукий!

— Не знаю, как тебя и просить... Помалкивай... не разболтай!

— Семнадцать лет, как я помалкиваю.

— Не обижайся...

— Семнадцать лет не обижаюсь.— Старуха насушилась.— Не отличить пса от человека...

В ту минуту она была похожа на большую птицу с встопорщенными перьями и широко раскрытым, точно от жажды, клювом.

Эльгельды не успел сообразить, чем ее задобрить. Подошла Сулув. И он встал между ними, тщетно стараясь отгородить дочь от юродивой. Старуха тотчас догадалась, кто эта девушка. И удивительно, как преобразилась, посветлела, помолодела старая, глядя на нее. Протянув к Сулув руки, она заговорила в болезненном экстазе, словно читала молитву:

— Это ты... гордость моя... сердце мое... жеребенок мой... Я тебя вынесла из дикой балки, из пасти звериной.— Она суетливо стащила со своего плеча рваную, засаленную торбу.— Вот... на, возьми все, верблюжонок мой черноглазый!

Сулув певольно рассмеялась ее дару, ее словам, и старуха вмиг поблекла, осунулась, сгорбилась. Точно слепая, пошатываясь, она пошла мимо Сулув, прижимая к груди торбу.

— Кто это, отец?

— Нищенка, безумная... Она добрый человек. Поди догони ее, поблагодари... Она не хотела тебе плохого.

Сулув побежала за Калджангуль, но та отвернулась и, не слушая, пошла в сторону. Старая бормотала не то молитвы, не то заклинания, шла спотыкаясь; она была уже не в себе.

Сулув вернулась к отцу, обняла его.

— Опять ты на ногах. Бледный как мертвец! Не жалей себя. Пойдем, приляг.

Она повела его в юрту, уложила, принялась разводить в очаге огонь.

— Отец, что я тебе скажу... Не будем мы голодать! Аулсовет решил нам тоже дать немного ржи. И теперь я с женщинами буду вязать сети. Обещали взять меня на ловлю рыбы!

Эльгельды не отрывал от нее беспокойного взгляда. Он слушал веселый голос, но не понимал того, что она говорила. Слушал и вздыхал, вздыхал, подавленный, измученный тайной тревогой: не проболтается ли юродивая?

БИБИКАТЧА НАШЛА СОПЕРНИЦУ...

Сулув сидела под камышовым навесом и молола рожь на лепешки, когда во дворе появилась Бибикатча. Звеня всеми подвесками, браслетами, богатым монистом из разноцветных бус и монет, она бесцеремонно уселась против Сулув и затараторила:

— Послушай, Сулув, бесценная моя, с тех пор как ты перестала пасти скот, я думаю, ты соскучилась без дела, бедняжка... Тошно сидеть сложа руки!

Никогда эта женщина, сколько Сулув помнила, не заходила так, запросто, к аульным женщинам, работницам ее мужа. Стало быть, и ее мастерицы-ткачихи перестают

работать у бая. Пошла хозяйка по дворам — кого усоветить, кого упросить...

— Я рада тебе, матушка госпожа, — сказала Сулув, не поднимая смеющихся глаз.

А Бибиكاتча как села, так и засмотрелась на девку. Впрямь хороша! Руки полные и крепкие, смуглая кожа точно бархат, молодые груди торчат под платьем, на лбу бисером блестят капельки пота, а глаза как у ханши: и горды, и мапят...

Когда-то, давным-давно, сама Бибиكاتча была такой. Недаром бай взял ее в жены из рабынь. Много лет Алланбий не смел ввести в дом вторую жену. И разве с годами подурнела Бибиكاتча? Она стала еще полнее и пышней...

Пока жива, она не даст себя в обиду. Другая женщина не войдет в юрту Алланбия безнаказанно!

Вчера ночью Бибиكاتча подслушала, как Алланбий шептался с Палмантазом:

— Что хочешь делай, убей однорукого или завали его ишеницей, но девку мне добудь.

Так велел одноглазый, чтоб ему ослепнуть на второй глаз!

И Бибиكاتча поняла простую истину: ее выгонят из дома; Алланбий сквитается с ней за всю былую власть ее молодости. Он хочет вышвырнуть ее в степь, как некогда вышвырнули несчастную Калджангуль. «Однако посмотрим, кривой дьявол, постарела ли Бибиكاتча!»

Перед самым рассветом, еще затемно, она выскользнула, никем не замеченная, из усадьбы и побежала к бродячему лавочнику, промышлявшему опнумом. И вот теперь ладонь ее жег мышьяк — самое верное средство. Бог собил ей найти соперницу.

— Без дела я не сижу, матушка госпожа, — сказала Сулув, утирая пот со лба. — Бедняк сложа руки только помпрает. А ткать коврики я не умею, мать не учила...

На минуту Бибикатче стало жаль ее молодости.

«Погубит тебя твоя краса, девушка, — подумала она. — И мою жизнь она сгубила, кинув меня к ногам бая. Такая уж наша доля бабья... Господи! Кабы послал ты мне счастье родить от немилого немощного мужа, разве подпяла бы я руку на себе подобную? Прости, господи, рабу свою, прости! Не карай за великий грех...»

Откинув за спину тяжелые косы, Сулув глотнула воды из тыквы, стоявшей рядом, и, вытянув вперед занемевшие

ноги, снова усердно завертела маленький жернов. День выдался на редкость теплый, душный.

Взяла тыкву и Бибикатча и незаметно бросила в воду несколько кристалликов мышьяка, взболтнула ее как бы невзначай. Но Сулув заметила, что важная гостя только поднесла тыкву к губам и, не испив ни капли, отставила. Брезгует, что ли? Или вода недостаточна студена?

— Хочешь, я подарю тебе... что-нибудь? — спросила Бибикатча упавшим голосом. — Хочешь монету из мониста?.. Самую большую!

— Нет, матушка госпожа... За что? Я все равно не пойду к вам ткачихой...

— За красоту твою, глупая.

— Не надо...

Сулув подняла глаза на Бибикатчу и вздрогнула — такая нехорошая, злобная гримаса на миг исказила молодое, сытое лицо госпожи. «Что это с ней?»

— Вам больно, матушка госпожа? — озабоченно спросила Сулув. — Вы неудобно сидите?

— Не беспокойся, я никогда ничем не болею! Ты вот притомилась, бедняжка. Вспотела! Испей водицы, милая...

Сулув послушно взяла из рук Бибикатчи тыкву с водой, а та, вновь зазвенев своими украшениями, поднялась и пошла со двора.

Сулув постояла у камышовой ограды с тыквой в руках, провожая гостью. Бибикатча приветливо кивнула ей из дали:

— Испей, испей, родная моя...

Когда же матушка госпожа скрылась из вида, Сулув с размаху выплеснула воду из тыквы и пошла к корчаге набрать свежей, попрохладнее... Коли на то пошло, Сулув тоже брезговала пить воду, которой касалась байская жена!

Часом позже из широких ворот усадьбы Алланбия с воплем выбежала юродивая Калджангуль. Старуха была без палки и без торбы. Редкие седые ее волосы летели по ветру, жалкие лохмотья едва держались на теле. Она бежала вприпрыжку, размахивая костлявыми руками, точно курица, за которой гнался хорек.

Ей удалось отбежать довольно далеко, когда в воротах появился Алланбий, держа на цепи прирученного волка. Зыркнув глазом по сторонам и углядев беглянку, Алланбий показал на нее волку, науськивая. Зверь рвался с цепи, вывалив на сторону язык.

Аллаббий дал юродивой добежать до камышей — за ними начиналось обширное болото. И отцепил цепь от ошейника. Волк без лая, низкими длинными прыжками, словно стелясь над землей, понесся за старухой.

Аллаббий удовлетворенно крикнул. Он сам загодя готовил зверя для такой травли, и вот подоспела нужда... Кому какое дело, если загонит серый никому не нужную, сумасшедшую старуху в трясину или разорвет ей горло коротким волчьим ударом своих мощных клыков! Серый делает свое дело — он похоронит навек то, что не удалось скрыть полтора десятка лет тому назад.

Пусть пеняет на себя сердобольная дурочка!

Волк скрылся в камышах, а Аллаббий — за высоким тыном своей усадьбы. И не увидел святой отец, как из ворот выбежала другая женщина, которой суждено было замешить в этом мире подлунном, на суровой кунградской земле юродивую Калджангуль.

В разорванном на груди платье, без головного платка, с растрепанными волосами прибежала Бибикатча во двор Эльгельды, уже полубезумная. Бусинки и монетки с ее драгоценного мониста осыпались одна за другой, падая на дорогу.

Первым долгом она кинулась к тыкве с водой и завывала, заголосила в неподдельном отчаянии:

— Господи! Лучше бы я сама выпила! О, будь я проклята!

Оттолкнув Эльгельды, который строгал весло, прижав его щекой к плечу, Бибикатча протянула трясущиеся руки к Сулув.

— Ди-тя мо-е!..

Сулув в испуге отбежала от нее, но та догнала и схватила девушку, повернула к себе лицом и стала ощупывать ее, судорожно, испуганно.

— Доченька, кровинка моя, пепаглядная... Ты вся в меня... Убей же свою несчастную, безумную мать, убей!.. Не прощай! Умрем вместе... Подними руки, задуши меня! Вырви мне глаза! Дитя мое...

Тщетно Сулув пыталась освободиться из ее рук — в них была нечеловеческая сила. Эльгельды стоял не шевелясь.

Вдруг, оставив девушку, Бибикатча заметалась по двору, нашла тыкву, схватила ее с диким криком, стала рассматривать, ковырять ногтем ее дно. Потом с яростью швырнула о землю. Посудина раскололась на две половин-

ки. Бибикатча повалилась рядом с ними и принялась слизывать капли воды сперва с одной, затем с другой. Огляделась, увидела Сулув и закричала опять, забилась головой о землю, дергая себя за волосы.

Подошел Эльгельды, приподнял ее с земли.

— Бибикатча, приди в себя... Что с тобой? Хочешь напиться?

Она вырвалась и отползла. Посидела, тяжело дыша, распутив губы, бессмысленно глядя перед собой усталым, потухшим взглядом, и заскулила, тихо, жалобно, точно щенок.

Сулув попробовала с ней заговорить. Но та уже не узнавала ее, не слышала. Когда ее подняли и поставили на ноги, она побрела шатаясь, держась за голову и причитая себе под нос:

— В голове вода... Ты не пей, дитя мое...

До самого вечера Сулув не отходила от отца. Она почувствовала — он что-то скрывает. Таиться от дочери он не умел. Пришлось Эльгельды сказать правду. Она приняла ее как будто спокойно. Но в сумерках, у очага, Сулув неожиданно припала к груди отца, точно дитя, и сказала, вздрагивая:

— Отец, я боюсь... Не отдавай меня... Слышишь?

ТАК ВО ВСЕХ АУЛАХ!

Холода стояли такие, что у быков рога трещали. Особенно студено было перед рассветом, и Степан, сойдя с лодки и поставив ее на прикол, долго не мог разогнуть одеревеневших колен.

Прибрежный камыш давно пожелтел, пожух, местами повалился, стал гнить. Ветер гулял над озером, свистя и воя, пропизывая Степана до костей. Кругом не видать ни зги, — ни смоляного факела, ни костра. Видимо, до аула неблизко или рано еще, спят. Степан осторожно пошел от берега, на ощупь находя узкую тропу, выющуюся в зарослях камыша.

Отсыревшая одежда жгла тело, Степан продрог, но ускорять шаг было нельзя — собьешься с тропы, набредешь на топь.

Выйдя на тесную полянку, покрытую — Степан знал это по памяти — горелым камышом, он остановился, прислушиваясь. Впереди в осоке что-то тихо хрустнуло. Ка-

мыш непрестанно шелестел под ветром, и не понять было, что там шевельнулось. Хорошо, если кабан или шакал. Но, может, Эримбет опять пожаловал в родные края? Кто знает, что здесь стряслось, пока Степан был в Муйнаке! Впрочем, люди, скорей всего, стерегли бы его на берегу, у самой воды...

Степан вытащил наган, пригнулся и свистнул, ожидая выстрела или топота кабаньих копыт. Тишина. Тогда он крикнул:

— Кто тут есть?

Ему ответил слабенький детский голосок, дрожащий от холода:

— Отец, милый... это я...

Степан оторопел. Неужели ловушка? Детский голос... Хитрая приманка!

И тут же он догадался и крикнул смущенно. Что только не примерещится ночью в камышах! Наоборот, это оберегают его от беды...

Степан шагнул в темноту и нашел под кустом девочку, завернувшуюся в лохматый халат, трясущуюся всем телом. Он узнал ее.

— Гульзира! Ты зачем здесь?

— Отец, милый, тебя убьют, беги скорей... Тебя хотят убить!

— Кто?

— Не знаю.

Он снял с себя бешмет, завернул в него девочку и, подняв ее на руки, понес. Она рассказывала, запинаясь, стуча зубами:

— Валяльщики кошм из черной юрты послали меня за айраном. Пришла я во двор бая, а там, в белой юрте, так бранятся, так бранятся... «Пора, говорят, убрать русского, он замутил нашим баранам головы. Убить его, как собаку!» А ты, отец милый, никому не мучил голову, ты мне дал лекарство, и я выздоровела. И подружка моя выздоровела. Я им сказала: «Зачем его ругаете? Это неправда!» Они закричали, погнались за мной, но не поймали...

Степан с силой прижал девочку к груди, она обняла его за шею.

— Отец, милый, ты не думай, никто не хочет, чтоб тебя убили. Это они, в белой юрте... И Жапак тебя очень любит. А я вчера с вечера пришла сюда...

— Ты... сидела здесь с вечера?

— У нас был дождь... Я их не боюсь...

— Ах ты, горе мое! Руки-ноги-то чувствуешь?

— Не знаю...

Степан ускорил шаг.

— Они не посмеют убить меня, Гульзира. Там, в белой юрте, боятся нас!

— А я всегда буду возле тебя, ладно, отец, милый?

— Ладно.

Еще в темноте добрались до юрты. Жапак не спал. Увидев Гульзиру на руках Степана, он закричал с сердитой радостью:

— Жива! Ах, чтоб тебя... жива! Где только не искал ее целую ночь напролет! Голову потерял...

— Скорей снимай с нее все...

Девочке докрасна растерли руки и ноги, напоили ее кипящим чаем с перцем и, укутав с головой, уложили у жаркого огня. Она уснула.

Жапак, поджаривая на сковороде рыбу, сказал:

— Знаешь ли, весь аул, в точности как наша Гульзира, мечется, боится, сторожит! Люди — как дети, и жалко их, и зло берет!

— Разберемся, — ответил Степан, суша сапоги у очага. — Спокойнее, друг! Не гневайся на детишек... Так сейчас во всех аулах! Старое уходит, новое непонятно. Ну, и боязно с непривычки... Разберемся, дай срок! Прошлый раз, когда мы с тобой хлеба просили, и нам и им недосуг был, минута дорога. Но уж на этот раз я добрался до муйнакских братков, задал им перцу...

— Ты — им? Задал перцу?

— А как же... Революция в степи! Это тебе, дядя, не чай пить...

— А они?

— А они всыпали мне по первое число, — со смехом сказал Степан.

Было это так. Степан вошел в низкий рыбацкий барак, утопавший по самые окна в рыхлом песке.

Встретил его с виду молодой, но болезненно бледный и хмурый человек на костылях, в полосатой тельняшке. Звали его Чары, по выговору чарджоуский узбек.

— Что тебе, дед? Кого надо?

Степан, измученный долгой дорогой, много раз вымокший и насквозь промерзший за несколько суток на «шелестящей тропе», молча протянул свой партбилет. По щекам Чары разлились розовые пятна.

— Прости, Силаев... Так это ты? Дай я тебя обниму, герой, пугало болотное!

Раздвинув костыли, он стиснул Степана за плечи и тут же закашлялся, сел.

— Пуля у меня в легких, нога отнимается, понимаешь. Вроде твоего безгака! Колесов — тебе говорили? — бело-гвардеец, оказывается, махровый. На допросе разошелся: «Скоро, говорит, содохнешь. Пуля в тебе моя!» Это он меня в Чимбае угостил... в спину... Но врешь, не содохнем, еще мало-мало поживем!

— Я думал, он из попов. Разит от него на версту, — сказал Степан. — Думал, носы у вас простудой заложило...

Чары усмехнулся, принимая упрек.

— Случай, понимаешь, носы прочистил! У вас в ауле, мы считали, он просто напутал, не справился. И ты заодно с ним...

— Спасибо! Сравняли петуха с вороной!

— Не обижайся, дорогой. Люди у нас считанные... Есть человек вроде тебя в ауле — есть советская власть. Нет человека — и нет советской власти! Руки не дотягиваются... Пролетарская революция — это, Силаев, работа! Ее делать надо. Так или нет... матрос?

— Так.

— А если так, стой на своем посту. Трудись! А то в Муйнак заберем. Нам такие... битые... позарез нужны.

— Нет, — сказал Степан, — я из аула ни шагу!

— Понравилось? Интересно?

— Жизнь худая, хуже не видел, а люди — золото!

— Золото, говоришь? А кто с тебя шапку пулей спиби? Забыл?

— Забыть не дают... пока что...

— Ну, а к арбе привязать, камешком ребра пощупать не обещали?

— С этого началось. Было... А люди хорошие. Рабочий парод! Терпеливый.

Чары рассмеялся.

— А я-то думал — ты на рыбку муйтенкульскую польстился... — Он подмигнул. — Копчененькую, а? Тамошний бай не угощал тебя? Ни разу? Зря.

— Зря, конечно, — согласился Степан.

Между тем около них собрались рыбаки, мотористы — в папахах, брезентовых шлемах, в болотных сапогах и опорках. Чары весело ткнул в сторону гостя костылем.

— Этот вот аксакал и есть Силаев! Представьте — он...

Ему были все рады.

— Слыхали, слыхали про такого...

— А ты на самом деле лечишь от безгака — не то хной, не то известкой?

— Говорят, ты во время паводнения сорок девушек спас?

— Ты лучше скажи, кого вы там выбрали вместо Совета? Правителя? Или придворного?

— А хана вы еще не избрали?

— Если тебе бороду подлиньше, ты и сам сойдешь за святого отца!

Степан развел руками, словно бы в растерянности.

— Смейтесь, смейтесь, а все-таки я своего Эримбета раскусил, а вы белогвардейца проспали!

— Кто такой Эримбет?

Степан и сам не знал, кто он. На словах вроде за народ, за коммуны.

— Он в меня стрелял...

Тогда Чары заговорил об Эримбете так, как будто много раз видел и слышал его. Даже голос Эримбета, воркующий, стонущий от напганного волнения, Чары изобразил до того похоже, что Степан открыл рот в изумлении.

— Ты его знаешь?

— Теперь мы такая сила, — ответил Чары, — что все черненькие, желтенькие, зелененькие будут подкрашиваться под наш цвет. Эта птица должна объявиться в Муйнаке. Если сунется к нам, будь уверен, овечью шкуру снимем с шакала! Не проспим. Колесов — урок достаточный... А пока — держи. — Чары протянул Степану свой наган. — И не зевай. Раз в тебя стали постреливать, значит, ты до рога стоишь!

Отвернувшись, Чары опять закашлялся, и впалые щеки его болезненно порозовели от натуги.

— Тебе бы к доктору, — сказал Степан, с болью глядя на него. — Хоть пулю вытащить...

— Для нашего брата дело — доктор. Лучше не надо! А пулька мне дорога, как память... Ты займись другой пулей, она в груди Муйтенкуля. Именуется: Аллабий!

— Задушит тебя свинец... смотреть страшно...

Чары недовольно нахмурился.

— Разберемся, дай срок, Силаев. Работы по горло... Сейчас помни одно: революция в степи! Это тебе, дядя, не чай пить.

.....

— Покажи наган, — попросил Жапак.

Степан показал. Жапак сосчитал, сколько в барабане пуль, почмокал губами, но спросил с сомнением:

— Ты застрелишь Алланбия?

Степан рассмеялся, отобрал наган.

— Баловаться с оружием не будем. Но уж паразитам вроде бая и его Палмантаза спуску не дадим. Всех к погтю!

— А как это делается?

— Выберем законный Совет. И перво-наперво — выгоним с народного схода Алланбия с позором! Голосовать будут одни трудовые руки. Потом соберем байских пастухов, испольщиков, поденщиков, калымщиков и именем советской власти объявим, что они свободны от всех долгов Алланбию.

— Ну, на это он никогда в жизни не согласится!

— А если он будет рыпаться и не придет в Совет с поклоном и с повинной головой, мы его будем судить народным судом.

— Что ты, что ты! Алланбия? Разве это можно?

— Дальше. Созовем Совет и постаповим — отнять у бая его имущество, нажитое народным трудом и потом, и раздать неимушчим байские луга и пастбища, стада и табуны...

Это было неслыханно, и Жапак только прошептал в страхе:

— Резня будет, Степан...

— А зачем брату бить брата — разве нет у нас другой работы?

— То же самое говорил Эримбет...

— Нет, не то, милый! Он плел, что Алланбий тебе брат, а по-моему — Эльгельды. — И Степан закончил радостно: — Наша берет, браток!

Рассветало. Неведомым путем прознали в ауле, что русский вернулся из Муйнака с великими новостями.

И вот в юрту с шумом ворвался старый Уббинияз, обнял Степана, сидевшего у очага, заодно, на радостях, и Жапака и, изменяя дедовскому обычаю, заторопил Степана:

— Ну, как? Что там? Верный ли слух пущен по степи?..

Ему не терпелось самому рассказать то, что дошло до его ушей и проникло в самое сердце, и он заговорил скороговоркой, теребя бородку:

— Неужто не слышали? Два кипчака приехали из Кунграта, переположили весь аул. Им, стало быть, один узбек из Джизака говорил, будто бы фирман вышел, называется реформа! В Фергане, говорит, и земля, и вода, и даже арбы и мулы перешли в собственность Советам, и будто бы все раздают бедным дехканам... Может ли статья такое? Узбек этот с хлебом в руке поклялся, что сказал правду. Как думаешь, не брехня?

Жапак уставился на Степана, затаив дыхание. Видать, он не бросал слов впустую, когда говорил: «Так во всех аулах»... Видать, революция, точно ветер, землю облетает!

Степан вытащил из-за пазухи измятую газету, развернул ее, разгладил любовно и ткнул пальцем в большие, непонятные Жапаку и Уббиниязу, буквы.

— Вот здесь написано... напечатано... черным по белому... В Средней Азии отобрано у баев два миллиона десятин земли!

— А скот? — спросил Уббинияз.

— И скот...

— Так я и думал! Узбек на хлебе поклялся.

Старик взял газету из рук Степана, внимательно и почтительно рассмотрел те буквы, которые указывал Степан, и, став на колени, прижал газету к своему лицу.

На следующий день в ауле состоялись выборы. На этот раз голосовали дружно. Алланбий на сход не пришел. Избрали в Совет Жапака, Степана, Уббинияза, Сулув и Аджинияза-старшего.

Нашлись люди, которые стали подсчитывать на пальцах, сколько будет у власти киятов и сколько муйтенов, но заспорили только из-за Сулув. Когда назвали ее имя, из задних рядов крикнули:

— Она дочь Аллана! Если баю нет нашего прощения, за что такая милость его родной дочке?

Поднялся Жапак, сказал, смеясь:

— Какая же она дочь баю, люди? Пес шелудивый выхаживает своих щенков. Курица бьется с ястребом за цыпленка. Или мы не знаем, как поступил Алланбий?

— А вот заговорит в ее жилах байская кровь — потянет к святому отцу... Что тогда скажешь?

Жапак ответил горячо:

— Разве может река, утекшая в море, вернуться вспять? И можно ли саксаул, выросший в песке, переса-

доть на болото? Сулув — наша сестра, пастушья дочь! Не на байских хлебах выкормлена...

И Степан залюбовался своим другом в ту минуту. Видно было, что людям нравилось, как заступился Жапак за девушку, — ее любили в ауле. И когда кто-то крикнул, озорничая: «Известно, почему ты ее защищаешь!», весь сход зашумел неодобрительно.

— Ладно, — сказал Жапак. — Кто болтает, язык откусит! Пусть Сулув сама скажет перед народом, кто ее отец. Говори, Сулув, смело! Скажи, что будешь делать, если тебя выберут.

Сулув встала, зардевшись до ушей. Рядом, у ее ног сидел на земле Эльгельды, сторбленный, молчаливый, держа длинную палку между колен, по обычаю чабанов. Сход притих, и звучный голос девушки был слышен повсюду. Она сказала с обидой и гневом:

— Я Алланбия человеком не считаю! Не хочу о нем говорить... Все знают, кто мой настоящий отец! И если кто хочет его обидеть, пусть выйдет и встанет передо мной...

— Ай девка, орел! — закричала тетушка Колчабу.

— А если меня выберут, — добавила Сулув, — я скажу... что сделаю все, как велит народ.

— Поклянешься на хлебе?

— Поклянусь!

Эльгельды сидел, точно окаменев, не поднимая на дочку глаз, но люди видели, что он изумлен речами Сулув не меньше, чем весь сход. Отроду не бывало, чтобы пастушью дочь выбирали править народом и чтобы она не оробела говорить перед мужчинами. У самого Эльгельды отнялся бы язык с перепугу.

После схода впервые собрался аульный Совет, и Жапак был избран председателем. Парень уперся вначале, замалхал руками, заспорил — лучше бы Уббинияза, тот старше годами, но с ним не согласились.

— Молодой конь, необъезженный, резвее ходит, — сказал Аджинияз-старшой, — а старый больно узде послушен...

Хороший это был день, похожий на праздник. Но вечером заметил Степан, что Жапак невесел. Насунился, замкнулся в себе, как в первую их встречу.

— Что с тобой? Недоволен? Чем? — спросил Степан.

— Потерял я свою Сулув навеки...— ответил Жапак горько.

— Как «потерял»?

— Не видать мне ее теперь, как своего уха! Конец!

— Что случилось? Что ты мелешь?

— Тебе этого не понять... Не вынесу я такой муки!

Уйду отсюда куда глаза глядят.

— С ума ты спятил, Жапак! Очухайся, председатель!

— Без Сулув я не человек. Не могу я вырвать ее из сердца!

— Час от часу не легче... Поругался ты с ней, что ли? Разлюбила?

— Нет, она любит... Позапрошлой ночью, когда искал Гульзиру, встретился с ней. Никогда не видел, чтобы она плакала, а тут... прожгла мне грудь слезами...

— С чего это вдруг?

— Разве ты не знаешь? Она дочь Аллана, а он муйтен!

— Опять старое! Муйтен или кият — что ж из того?

— Как что?! Не говори, Степан... У нас обычай, закон: я не могу жениться на девушке из своего рода. Мы дети одного отца, нельзя!

Степан в сердцах чертыхнулся, затряс головой.

— Ах, браток, браток... Сколько еще мусора у тебя в башке. Таким ветром не вымело! Слушаешь и повторяешь дедовы басни...

— Ты сам говорил: надо слушать народ, уважать стариков... Люди боятся. Проказа будет!.. Опозорят, забьют нас камнями. Ни на что не посмотрят...

— Отчего же проказа?

— От этого самого... если я женюсь на Сулув...

— Неужели же ты не сумеешь растолковать людям, что это вранье, ерунда, темные бредни?

— Слушать не станут. Рта не дадут открыть...

Долго в ту ночь не смог уснуть Степан, размышляя о том, что же на кунградской земле проще — сломить Алланбия или женить Жапака.

Не спал и Жапак. Степан окликнул его:

— Выкинь дурь-то из головы. Утро вечера мудренее.

— Я спать не буду. Спи... Я днем вздремну.

— Это зачем?

— А ты забыл, что говорила Гульзира?

АЛЛАНБИЙ БЕЖИТ

Полночь. Все перевернуто вверх дном в усадьбе Алланбия, огороженной высоким тыном. Там, где стояли юрты, курился дым разобранных очагов, торчали колья. В темноте тревожно ржали кони, скрипели арбы, суетливо метались люди. Слышалась приглушенная брань.

Алланбий в штанах из овчины, заткнув за пояс концы халата, торопил, понукал людей. То и дело он толкал кого-либо концом плети в спину, пинал сапогом, шипел, плевался.

— Живей шевелитесь, ради аллаха, и будьте вы прокляты!

Все было погружено и наготове, когда Палмантаз и горбун-писарь принесли на руках и положили у ног Алланбия какую-то длинную вещь, завернутую в кошму.

— Что это?

Палмантаз осклабился.

— Ты велел, святой отец, чтобы в этом проклятом богом и тобой ауле ничего не осталось, принадлежащего тебе!

И он покатиł сверток по земле. Шестиметровая кошма развернулась, и из нее выкатилась женщина, связанная по рукам и ногам. Палмантаз и горбун подняли ее, поставили на ноги перед Алланбием. Лицо ее, вспотевшее, раскрасневшееся в духоте, было облеплено волосинками от кошмы, рот стянут платком. Это была Сулув.

— Спихватился, дурак! Осел вислоухий...— проговорил Алланбий сквозь зубы.— Она дочь мне. Развяжите ее.

— Убежит, святой отец! Упаси боже... Или вы ее не знаете? Аул на ноги поднимет!

— Ну, отнесите ее на переднюю арбу. Стерегите оба. Горе вам, если провороните!

Палмантаз хихикнул в кулак.

— Да будет твоя душа покойна, святой отец!

Плешивый и горбун бегом отнесли Сулув к кокандской арбе на высоких колесах с крытым верхом и положили ее на какие-то мягкие узлы. Палмантаз сел на коня, впряженного в арбу, писарь примостился на задке арбы. Подошел Алланбий, проверил, здесь ли Сулув. Арба тронулась и покатила бесшумно по мягкой земле.

Палмантаз и писарь, очень довольные, переговаривались в темноте, не стесняясь Сулув:

— А хороша девка!

— Вылитая мать. И та в молодости была — глаз не отвести. Алланы издавна не выпускают из рук эту породу.

— Все-таки сердится святой отец...

— Ха! Заметил ты, как он ее щупал на арбе?

— Но сам сказал — дочь.

— Слушай меньше, думай больше! Бибикатча, говорят, тоже от родного брата Алланбиа...

— О, господи... С этой дьявол не совладеет...

Сулув неслышно ворочалась на тюках, стараясь ослабить веревки. Руки и ноги ее затекли, во рту пересохло. По всему телу ползло мучительное колотье.

Эльгельды не было дома, когда ее схватили. Он ушел на озеро, и Сулув знала — зачем. Посмотреть тайком, как пойдут односельчане на рыбную ловлю... Не раз уже он провожал так рыбаков, спрятавшись в камышах. Сулув, прикидываясь спящей, делала вид, что не догадывается, где он бродит перед рассветом.

Вернувшись, Эльгельды подумает, что она ушла вязать с женщинами сети, будет дожидаться ее терпеливо, а может, приляжет, уснет после ночной прогулки.

Что будет, когда откроется, что она пропала? Больше всего Сулув боялась, как бы не заподозрили люди, что она сбежала с Алланбием по своей воле, по тайному сговору. «Дочка родная... Заговорила байская кровь... Как волка ни корми...» — слышалось Сулув, и она тихо стонала от боли и бессильной ярости.

Из-под войлочной арки арбы Сулув не видела ни горизонта, ни звезд и не могла определить, куда движется караван Алланбиа. Караван невелик — три арбы, пяток верблюдов. Палмантаз и писарь жаловались друг другу:

— Разорилось гнездо орлиное. Бежим, как воры в ночи...

— А помнишь, бывало, когда Аллан снимался с места и откочевывал, по три недели над степью стоял шум и гвалт, пыль закрывала небо! Теперь за одну ночь собрались...

«Неужто бай бросил свои стада и табуны?» — подумала Сулув.

— Аллан знает, что делает,— хвастливо проговорил Палмантаз.— Хитер, как лиса, смел, как сокол! Турдымурат ему не чета. Помнишь ты правителя Турдымурата с того берега? С виду гроза, туча, а не стронулся с места, пока рабы не поделили между собой все его богатство. И как он мог с этакой головой править девятью аулами,

удивляюсь! Наш-то кривой, а видит на сто верст вперед... Одна нога здесь, другая — далеко, не догонишь!

Сулув поняла, что главные табуны и стада Алланбия давно в пути и он их догоняет.

— А что, если в туркменских степях тоже... Советы?— спросил писарь.— Куда денемся?

— Есть земли и подальше туркменских... Были бы рога да гривы, а трава найдется. Не трусь, горбун!

Так вот куда бежит одноглазый, угоняет скот! В туркменские жаркие степи, а при случае и дальше; может, в другие страны? Сулув слышала от отца — так поступали и прежде очень богатые, властолюбивые баи. Оттуда, из дальних краев, возвращались иногда пастухи, которых тянуло на родину, рассказывали, что земле конца нет.

Пока спохватятся, осмотрятся у Муйтенкуля, уйдет караван Алланбия, как вода в песок. Не счесть дорог в неоглядной степи. Ищи ветра в поле!

Рассвело, когда Сулув наконец развязали, сняли со рта платок.

— Дайте попить...— попросила она слабым, хриплым голосом.

Палмантаз поднес ей бурдюк с кумысом.

Сулув выпила столько, что плешивый и горбун зацокали языками. Потом она растерла себе занемевшие руки и ноги и умыла лицо кумысом. Палмантаз с криком отнял у нее бурдюк. Сулув туго переплела свою распутившуюся косу и выскочила из арбы.

— Отведите меня к Алланбию.

Бай сам подъехал к ней на Куктемире, ее любимце, длинногривом, сером, словно тающем в утренних сумерках. Конь потянулся к ней мордой, слабо, ласково заржал.

Сулув тронула пальцами его шершавые губы, крепко огладила выпуклую, переплетенную железными мышцами грудь и сказала баю, глядя из-под морды коня:

— Все равно не уйдешь, хозяин, от советской власти. Клянусь тебе, не уйдешь!

Алланбий скатился с седла и с размаху хлестнул Сулув плетью.

— Убью своими руками!.. Сучья кровь! Закопаю живьем в землю! — заорал он, брызжа слюной.

Куктемир толкнул мордой бая в плечо. Алланбий и его стегнул плетью.

Сулув опять скрутили руки и бросили на арбу.

В полдень, когда караван остановился на привал и верблюдов стали развьючивать, Алланбий снова подъехал к передней арбе, посмотрел на Сулув и несколько раз ударил ее плетью. Девушка не проронила сквозь сомкнутые губы ни звука.

После этого всякий раз, проезжая мимо арбы, Алланбий не упускал случая хлестнуть Сулув. Куктемир прижимал уши и косился на нее горячим глазом, беспокойно топчась на месте. Бай натягивал поводья, заставляя коня отвернуть морду. Сулув молчала.

На следующий день караван оставил далеко позади жилые места. Кругом расстилалась бескрайняя унылая, выжженная солнцем степь. Ни дымка, ни пепла от брошенного костра, ни следа человеческого на многие, многие версты. Люди Аллана повеселели, перестали оглядываться. На привалах начали пошучивать. И сам бай как будто смягчился, реже кричал, приобрел былую важную осанку и только грозил Сулув плетью.

Прошла однажды мимо арбы Бибикатча, посмотрела на Сулув через плечо взглядом больной собаки, и не понять было, узнала ли...

Сулув почти ничего не ела и много пила. Она заметно осунулась и точно замерла — ни на кого не поднимала глаз. С ней заговаривали, когда Алланбий отъезжал по дальше, — она не отвечала.

— Притихла наша кошка, — сказал писарь, посмеиваясь. — Плеть-то оказалась горячее девицы!

— Придет ее час, смирится, — отозвался Палмантаз, глядя на Сулув масляными глазками. — Когда в реке много воды, она разливается. Когда девке минет пятнадцать лет, она думает, о чем все...

Приближалась вторая ночь в пути. Караван готовился к привалу. Разводили костры. Дни были теплые, ночи пронзительно холодны.

Алланбий, утомленный долгим дневным переходом в седле, прилег на кошму у костра, отдав повод от коня Палмантазу. Плешивый собирался разнуздать и расседлать коня и спутать ему передние ноги.

Он снял с Куктемира седло, когда услышал оклик Сулув. Она звала Палмантаза так почтительно, что он не поверил своим ушам. Ведя за собой коня, Палмантаз подошел к арбе.

Девушка просила отпустить ее по нужде. Палмантаз вскочил на Куктемира и велел горбуну развязать ей руки.

Сулув медленно пошла в степь, не оглядываясь. Палмантаз, ухмыляясь, поехал за ней. Куктемир плясал под ним, часто перебирая тонкими сильными ногами, и Палмантаз выпрямился, подбоченился, — на таком коне чувствуешь себя джигитом!

Сулув знала, что умный конь не спускает глаз с ее спины, и шла, дрожа от радостного возбуждения. Куктемир не забыл ее, не разлюбил... Вот он, ее час!

Она отошла от лагеря шагов на пятьдесят, не больше, и вдруг обернулась, подняла руки и крикнула с дикой радостью:

— Кук-те-мир, милый! Э-гей!

И тотчас конь взвился на дыбы, а затем, козой прыгнув в сторону, поддал задом.

Такие пробы Сулув проделывала не раз на горных пастбищах — на спор. И получше наездники, чем Палмантаз, не удерживались в седле, когда Сулув звала Куктемира.

Плешивый и крикнуть не успел. Он кувырком взлетел вверх, точно затычка из бурдюка с забродившим кумысом.

Коротким галопом, протяжно фыркая, конь подскакал к Сулув, она прыгнула ему на спину и прижалась щекой к его крутой шее.

— Ну, выручай, крылатый... Ходу, милый... Лети...

Куктемир опять поднялся на дыбы и с места пошел азартным наметом. Он понимал, чего Сулув хочет. Он любил ей угрожать. И она похлопала его ладонью по шее, успокаивая.

Из лагеря неслись суматошные крики, а через минуту другую Сулув услышала за своей спиной ровный, гулкий топот погони.

Сулув оглянулась, принякая грудью к шее коня. Всадники позади улюлюкали, размахивая арканами, горяча коней и себя.

Тогда она тоже взвизгнула свирепо в уши коню, раздувая ноздри, отводя лицо от его летевшей по ветру гривы, и почувствовала, как скок коня удлинился и стал словно легче, воздушнее. Дышал он свободно, неслышно, вытянув длинную, узкую голову вперед, и Сулув еще раз взвизгнула, ликуя, одобряя коня, и он понял ее.

Птица-конь! Сколько раз на джайляу Сулув обгоняла на Куктемире джигитов, мужчин. Не всякий иноходец мог настичь его, если на нем сидела Сулув.

Позади уже не кричали и не размахивали арканами.

Не конь, а бес уносил на своей спине строптивую, отчаянную девку. Топот погони отдалялся.

Быстро темнело, и Сулув стала придерживать Куктемира, тихонько потягивая его за гриву, опасаясь, как бы он не попал в темноте копытом в нору. Он не слушался.

— Милый... они далеко... не догонят...— заговорила Сулув, обнимая его за шею.

Конь сделал на скаку полукруг и остановился, высоко подняв голову, ища глазом отставшую погоню и недовольно фыркая.

Еще двое суток пространствовала Сулув по степи, от колодца к колодцу, обессилив от голода. Случай привел ее к туркменским чабанам. Ее накормили, указали верную дорогу.

На пятый день после бегства Алланбия Сулув вернулась в родной аул и спешила у юрты Жапака.

— Меня увезли силком. Бай угоняет табуны. Я поклялась, что он не уйдет...

— И не уйдет,— успокоил ее Степан.— Ножки коротки!

Подошел Уббинияз, выслушал Сулув, сказал:

— Бугай — не рабочая скотина, бай — не человек. Бежавший от народа — как отрезанный рукав...

В ПУТИНУ

Три месяца — на пастбище,
Три месяца — на дынях я,
Еще три — я на тыквах,
А три — на наваге!..

Так говорят про себя каракалпаки.

«А три — на наваге...» Тяжелая и благодатная пора! В путину рыбак Муйтенкуля трудится день и ночь, не покладая рук, без сна и отдыха. Эти три месяца должны прокормить его семью целый год.

Озеро кишмя кишит лодками, повсюду тянут из воды сети, неводы и верши, которые плели, чинили загодя, задолго до страдной поры. Во дворах, куда ни глянешь, крутятся на ветру подвешенные для вяления связки наваги нового улова и густо пахнет свежесоленой рыбьей икрой.

В нынешнем году путина выдалась на редкость горячей и обильной. Муйтены и кияты вышли на промысел вместе, рука об руку. И мужчины, уплывавшие по ночам,

«лунными» тропами, далеко в глубь озера, возвращались с таким уловом, что люди разводили руками, — куда девать столько добра? Не доставало лодок перевозить рыбу в Муйнак. Каждая семья вдоволь наготовила наваги — и насушила, и навялила, и засолила. Люди завопили: не надо ее больше, сыты ею!

Тогда аулсовет решил восстановить старый заброшенный чулан Алланбия, и вскоре он был забит до отказа свежемороженой рыбой. Эта рыба стала общим достоянием — как-никак добыта всем миром.

— Она только зовется навагой, — говорили рыбаки, — а подумать — так это золото червонное!

Путина крепко сдружила людей. Работали сообща, увлеченно, в ауле прижилось новое словечко, неслыханное прежде, — бригада. Стали говорить: «Я из бергат Уббинияза...», «Бергат Степана наловила больше»... Такого не знавали при бае.

Но не все шло гладко. Труд сближает, богатство делит. Нашлись люди, которые в самый разгар путины потянулись с мешками, набитыми рыбой, в дальние аулы — продавать, менять... Приносили вещи, продукты. И то сказать — одной рыбой не проживешь. Людям нужны были мука, масло, мыло, ткани. А иначе какое же навага — золото?

Вновь задумались в аулсовете. И по аулу пронесся слух:

— Что затевают! Будто бы станем работать артелью. Весь улов примет государство, даст товары...

Люди заволновались, заспорили. Одни пугали, другие обнадеживали; донимали друг друга расспросами, догадками.

— У кого нет своей лодки, того в артель не возьмут, слышал?

— Были б рабочие руки да голова на плечах!

— Нет уж, коли такое дело, надо загодя поделить рыбу, что у нас в чулане...

— Не в том суть! Говорят, кто пойдет в артель, переселится к морю.

— И правильно. По крайней мере, будем у самой рыбы: мы — к ней, она — к нам!

— Бедная моя головушка... страсть какая! И пресной-то водицы не увидишь...

— На этой земле родились, ею кормились. Все бросить! Ради чего? Ради рыбы?

— Сказано: нищи дорогу, она отыщется. Лучше с другом да с братом, чем в одиночку!

— Как знать... Только избавились от Алланбиа, а вдруг попадемся в сети тамошним богатеям?

— Шалишь! Что было, то слыло. Сами хозяйева!

— Ребята говорят, наша артель на всем побережье будет самым богатым чуланщиком. Вон оно как оборачивается!

Люди ждали. А Жапак и Степан как будто не торопились. Прислушивались к разговорам, зазывали к себе в юрту стариков, советовались. По ночам, при свете коптилки, что-то писали, подсчитывали. Уббинияз и Адживинияз-старшой тоже отмалчивались до поры, до времени...

Было раннее утро. Ветрено. Волны шумно плескались о берег, на них качались зеленые бутоны кувшинок. Не умолкая, пискливо кричали над озером чайки. Они тоже ловили навагу.

Укрывшись за стеной камыша, настороженно оглядываясь, стояли на берегу Жапак и Сулув. Он держал ее за руки.

— Все-таки ты зря меня избегаешь, Сулув. Нам надо разговаривать по делу. Приходи хоть вместе с Уббиниязом. Пусть люди видят, привыкают... Ты член Совета, не забывай!

— Но ты же знаешь, Жапак...— сказала она, припкая к его плечу.— Я бы никогда с тобой не расставалась...

Он вздохнул.

— Что же, отец Эльгельды придет к нам в артель?

Она печально поникла головой.

— Трудно с ним стало. Я вижу, он мучается, а молчит. Все думает, думает... И не поймешь, что носит в своем сердце.

— Не может простить?

— Не знаю...— Она обхватила его руками за шею.— Милый, осмелюсь, подойди к нему, поговори сам — про артель и... про меня... Ты мужчина, ты председатель. Может, ответит тебе...

Он молчал, и она прошептала едва слышно:

— Смотри, хуже будет... не выдержи я, милый...

Он бережно, нежно прижал ее к себе.

— Степан говорит: соберем артель, переменится жизнь, никто не вспомнит про старое. Забудут, кто из какого рода! Тогда не осудят и нашу любовь, простят нас...

— Неужто простят? Жапак, милый, от радости я помру...

И тут качнулся соседний куст и за ним в страхе, не своим голосом вскрикнула женщина:

— О, господи, помилуй и спаси!

Жапак и Сулув тоже испуганно пригнулись, огляделись. Прочь от них, бросив вязанку хвороста, ошалело размахивая руками, убежала худенькая, сгорбленная старушка Айджамаль, носившая обычно огромный, точно корзина, тюрбан, сложенный из семи-восьми платков.

С нестарческой резвостью взбежав на холм перед аулом, она завопила, запричитала истошно, в неподдельном ужасе:

— Люди! Скорей! Люди добрые! Поднимайтесь! Прокказа! Идет на нас проказа! Муйтены! Где вы, муйтены! Быть вам прокаженными! О, господи, господи, господи!..

Со всех сторон к ней сбегались женщины, полуголые детишки, рыбаки. Над холмом поднялись клубы пыли.

Тетушка Айджамаль хлопала себя ладонями по коленям, тыкала пальцем в сторону озера.

— Вон они, там, глядите! Сама видела, лопни мои глаза! Жапак и Сулув.. Стоят и милуются, как нареченные... Ох, лучше бы мне ослепнуть!

Запричитали и другие женщины. Поднялся плач.

Старики закивали бородами, теснясь друг к другу, наскоро творя молитвы.

— Учили дурней, отступников — не водись с чужаком! Пошли против закона, братаемся с муйтенами — и вот она, кара...

— Надо, не мешкая, быстрого человека — гонца — к большому имаму. Пусть снимет с нас великий грех, скажет, как их казнить...

Все оторопело смотрели в сторону камышей, точно ждали оттуда невесть какого зверя.

Подоспели Уббинияз и Степан. Их обступили тесной толпой. Степан прикинулся непонимающим!

— Что тут случилось?

Его уважали, многие побаивались. Аджинияз-старшой подошел к нему, растолкав людей, сказал с достоинством и горечью:

— Братец Степан... поверь... Наш род древний, из него, случалось, выходили и нищие и юродивые, но... никогда на моей памяти у нас не бывало такого страшного позора!

Вот как сказал старшой, а его тоже уважали на Муйтенкуле — и за возраст, и за отменное мастерство, и за честное, совестливое сердце. Недаром выбрали в Совет.

И Степан не нашелся в ту минуту, как ему ответить. Он чувствовал: неловко скажешь — обидишь и себя уронишь. Дело нешутейное. Уббинияз насупился, словно удерживая Степана: не осрамись...

А толпа вдруг притихла, застыла не шевелясь. Из зарослей камыша, держась за руки, вышли Жапак и Сулув и неторопливо пошли на холм как ни в чем не бывало. Степан и сам не ожидал такого оборота, огляделся, обеспокоенный, и... мысленно посмеялся над собой: «Замутили и мне душу. Привыкать стал... Верно, председатель! Рубить — так сплеча».

Жапак подвел Сулув к толпе и сказал:

— У советской власти свой закон. Я буду жить по этому закону. И никого на свете не побоюсь — ни бая Алдана, ни тетушку Айджамаль!

Старуха ахнула:

— Бесстыдник! Побойся бога...

Жапак перебил ее:

— И ты, тетушка Айджамаль, не кричи на меня. Постарше и поразумнее тебя люди не кричат на меня. А почему? Потому, что я живу по новому закону! И других учу.

— Что верно, то верно, люди... — неожиданно проговорил Аджинияз-старшой, почесывая бороду.

— И проказы не боишься? — спросил Жапака мальчишка в рваной шапчонке и широко открыл рот, дожидаясь ответа.

Степан рассмеялся, нахлобучил ему шапку на нос.

— Аджинияз-старшой, скажи ты, может быть проказа оттого, что джигит полюбит красивую девушку?

Старшой обыкновенно в карман за словом не лазил. На этот раз он замаялся:

— Кто знает... Нынче советская власть...

И старшки опять закивали головами, косясь друг на друга: в самом деле... она не слабее большого имама. Однако старая Айджамаль не сдавалась. Не смея возвысить голос на Жапака, она с темной злобой напустилась на Сулув:

— А ты? А ты? Длиннокосая! Есть у тебя страх божий?

Сулув ответила, смиренно опустив глаза:

— Мне как отец велит, тетушка Айджамаль... И как скажет Совет!

Может, так и разошлись бы с миром, если бы в то утро не случилось худшее. С озера, гомоня, прибежали подростки, игравшие у лодок.

— Дедушка Уббинияз! Дядя Степан! Гляньте на озеро!

— Белое озеро... побелело, как тақыр...

— Вся вода покрылась дохлой навагой.

Кинулись люди к озеру и остановились на берегу, не зная, верить или не верить тому, что увидели. Вдоль берега всплывали брюхом кверху сотни рыб. Казалось, незримая зараза травила в воде навагу, губила рыбацкое золото.

Тетка Айджамаль упала на колени, забилась, точно припадочная, голося:

→ Вот оно! Вот оно! Пало на наши головы! Господи, не карай, помилуй!

Мурашки побежали по спине у Степана от ее крика. Такая мертвеца из земли поднимет, а живого до смерти напугает.

— Ну-ка, уведите отсюда эту кликушу, — скомандовал Степан, осердясь. — Слушать надоело.

Женщины оттащили ее. Степан вошел в воду, поднял дохлую рыбину, осмотрел, понюхал ее и повернулся к рыбакам. Те смотрели на него и на рыбу с опаской.

— Братцы, — сказал Степан, — это дело чьих-то рук, не иначе. Бандитское дело. Давай... кто помоложе... в лодки и вдоль берега! Жапак, бери ребят покрепче, обыщи камыш, прочеши вдоль и поперек. Давай!..

Степану не пришлось повторять команды. На облаву в дебри камыша пошли все: стар и млад.

Уббинияз тронул Степана за рукав.

→ Слышишь, сынок, смутно я помню... лет сорок тому назад вдруг пропала в Муйтенкуле рыба... Взяла и пропала... Совсем...

→ Что ж это было?

— Очень худое дело...

НА НОВОМ МЕСТЕ

Часом позже джигиты Жапака пригнали из камышей плешивого Палмантаза. Он был оборван, лицо грязно и черно. Его нашли далеко от аула, у костра, перед камы-

повым шалашиком, — Палмантаз обгладывал кости воючего пеликана. Увидев людей, он пустился бежать. Виноватый пес всегда поджимает хвост...

— Здравствуйте, земляки, — сказал он, входя в аул и снимая шапку.

Ему никто не ответил. Один из джигитов со смехом показал на его голову.

— Где тетка Айджамаль? Ее предсказание сбылось — вот она, проказа.

Никто не засмеялся. Палмантаза заперли в чулан, и тот же шутник сказал ему в виде напутствия:

— Посиди там, где я сидел!

А к вечеру вернулись в аул Уббинияз и Степан с бригадой рыбаков, усталые до изнеможения и пропахшие дурным запахом гнили.

Предположение Уббинияза оправдалось: в Муйтенкуль были спущены отравленные воды соседнего безымянного озера. Оно лежало в нескольких километрах от аула, и в него годами стекали всяческие отбросы из чулана Алланбиа. В это же озеро дехкане окрестных аулов отводили воды, которыми промывали солончаки, — мертвые воды. Говорили, что озеро не имеет дна, вода в нем стоячая, полная нечистот, была мутно-желта и блестела, как масляная. На берегах его не квакали лягушки, не росло ни травинки. Когда ветер дул с озера, над аулом разносилось тяжелое зловоние.

Рыбаки завалили землей сток губительных вод в Муйтенкуль, и Степан сказал:

— Не так страшен черт... Вряд ли этой тухлятиной задушишь нашего богатыря, кормильца. Отплюется Муйтенкуль!

Когда проходили мимо чулана, из него донеслись отчаянные вопли:

— Помираю, добрые люди! Выпустите меня, я все скажу!

Палмантаза привели к Степану. Собрался народ.

— Это он заставил, Алланбий, мучитель, изверг, одноглазый коршун... — клялся Палмантаз, стоя на коленях. — Не дали ему убежать, бесится...

— Знаем, знаем, кто смердит. А сам ты чпст?

— Что же, по-вашему, — забормотал Палмантаз, — кто выпил айран — ни при чем, а кто вылизал посуду — виноват?

— Заставить бы тебя вылизать гнилое озеро!

Вдруг Палмантаз вскочил на ноги, стал пятиться. Подошла Сулув.

— Ну, расскажи, невинная овечка, — предложил Аджинияз-старшой, — как ты выкрал девушку, чтобы свести ее с баем, родным отцом. Бай — вор, ты — рука, а вору отсекают руку, которая крадет!

— Бей его, люди!

— Привязать подлеца к хвосту верблюда!..

Несколько человек схватили плешивого за руки и за ноги. Он отбивался, визжа по-бабьи:

— Помилуйте, люди! Я бая выдам вам, приведу на веревке!

Тщетно Степан пытался успокоить народ. Здесь издавна привыкли карать преступников самосудом. Почти у каждого в ауле были старые счеты с байским шутком...

И, может быть, люто кончилась бы жизнь Палмантаза, если бы не появился человек, которого никто не ждал. Не замеченный никем в свалке, тихо подошел и выступил вперед старый Эльгельды.

— Дайте я гляну ему в глаза...

Он был худ и темен, но заметно окреп за последнее время. Уже не скажешь, что он немощен. Былое достоинство проступило в его фигуре, он даже выпрямился.

Палмантаза поставили перед ним, и старый пастух сказал:

— Ты называл меня трусом, Палман, осквернившим честь своего рода.

— Ты не понял, несчастный... Я...

— Молчи и слушай! Я жив, Палман, воскрес. И я тебе покажу, как трусит Эльгельды... и что такое честь...

Пастух поднял свою единственную руку.

— Отпустите его, люди. Пните коленкой под зад... и пусть уйдет из нашего аула!

Так после долгого добровольного затворничества заговорил с людьми Эльгельды. И его послушались. Молодой парень, разбежавшись, угостил плешивого таким пинком, что тот прокатился кубарем шагов с десятков под общей хохот. Потом побежал вприпрыжку в степь, не оглядываясь, точно заяц.

Большой сход одобрил решение аулсовета. Муйтены и кияты сошлись в одну артель и стали откочевывать к берегам Арала.

Новая стоянка аула была теперь у самого берега моря, в урочище Чигиркудук, неподалеку от Муйнака.

Вдоль мелководного залива буйно цвел камыш — на нежно-зеленых стеблях висела белая кипень. Лодки бесшумно покачивались на чалках, кланяясь земле и воде, а вокруг колодца на крутом берегу выростали новые и новые юрты, камышовые навесы.

Днем и ночью прибывали сюда караваны верблюдов, вереницы арб с рыбацким имуществом, домашним скарбом, — и не только с Муйтенкуля. Многие роды и племена снялись с насиженных мест, чтобы начать новую жизнь.

Возле правления артели всегда многолюдно. Новых переселенцев встречают то шутками-прибаутками, то долгами, подробными расспросами.

— Мне неведомо, откуда ты, а ты не знаешь, откуда я. Однако довелось нам встретиться в Чимбае, как говорится... Какой ты ветви?

— Байбише...

— Какого корня?

— Тирем-жекенсал...

— Рода какого?

— Кенгтанаусского... а что?

— Нет, ты скажи, какой твой большой род?

— Большой-то род наш — род муйтен... Клич — Акчулпан, клеймо — гусиная лапа.

— Позволь, позволь, а муйтены вы из Шуллака или Жаунгура?

— Ясно, что из Шуллака!

— Так ты, я вижу, из наших, кунгратских? Верно я появля?

— И понимать нечего...

— Тогда здравствуй, брат!

И незнакомцы кидаются обниматься, словно закадычные друзья, встретившиеся после вынужденной разлуки. Один помогает другому сгрузить вещи, ласкает его детей.

Если прибывали люди, малоопытные в рыбацком труде, — таких отличали с первого взгляда, — возле колодца вспыхивал дружелюбный смех, озорные голоса затягивали веселую песенку:

Ходит в шубе долгополой, меховой,
Долбит просо дома об руку с женой...
А поймает хоть наважину одну —
Сам идет от радости ко дну!

И вместе со всеми от души смеялся тот, кого уличали в бабьем занятии — толчении проса.

Люди радовались тому, что строят свою жизнь, как им хочется, по-новому — не для бая, для себя и своих детей, — и беззлобно высмеивали оробевших, растерявшихся.

Многие еще ночевали под открытым небом, у костров, на камышовых постелях, но держались дружно, не сетовали на судьбу.

После хлопотного дня, полного тревог и забот, прилегли у костра Жапак и Степан. Рядом лежало, мерно дыша, море — старинный рыбацкий друг. Луна серебрила его волнистую спину.

Подошел Уббинияз с домброй в руках, негромко наигрывая.

— Лодок, сетей маловато, — сказал Степан. — Придется опять ехать в Муйнак, просить...

— Просить — не сеять, а жать, — шутливо заметил Уббинияз. — Было бы у кого... брать!

— А вы боялись: не проживем без бая, — напомнил Жапак.

Уббинияз склонился над домброй, тронул чуткими, мудрыми пальцами струны, сделанные из кишок козленка. Полилась протяжная песня. И Степан заметил, что она была не так печальна, как еще совсем недавно, у Муйтенкуля, в юрте певца.

На звуки домбры потянулись люди от других костров. Против Жапака, по ту сторону костра, присела Сулув.

Ее лицо, казалось, горело жарким огнем, а глаза лукаво, загадочно поблескивали.

«Оглядись, милый, — говорили ее глаза, — посмотри, какая у нас с тобой радость!»

Жапак приподнялся на локте, глянул через плечо и увидел за собой Эльгельды.

Старый пастух сидел, поглаживая седую бороду, нахохлившись, точно больной орел, и слушал, жадно слушал молодые голоса, новые речи...

ОСТРОВ КОЧУЮЩИЙ

Муйнакский богатей Иван-хромой, в юности — рыбак, добровольно отдал советской власти свой чулан и стал в нем распорядителем. Здесь был устроен рыбозавод. Сюда рыбацкие артели свозили улов.

Это было удобно и выгодно. В Муйнаке на деньги купишь все, что твоей душе хочется! И в юртах рыбаков появилось сливочное масло, белый хлеб, конфеты и душистое мыло.

Древний охотничий азарт уводил рыбаков на лов в самые опасные места Арала. Без риска нет удачи. И кто не хлебнул соленой водицы в море, тот не рыбак!

В погожий день Жапак с тремя товарищами отправился в лодке на остров Кочующий, который был в верстах семи от берега. Про этот остров среди рыбаков ходила дурная слава. Говорили, будто время от времени он перемещается с места на место, подобно огромному плоту. Низкие его берега, заросшие непролазным камышом, постоянно покачивались, хлюпая, на воде. Только ли берега держались на плаву или весь остров — никто не знал. Но рыба близ него сама шла в сети! А в море, куда ни поплывешь, держи ухо востро... Решили Жапак и Уббинияз побывать на Кочующем, разведать, что эта за диковина. Взяли с собой двух джигитов, поплыли.

Жапак качнулся на ногах, когда спрыгнул на берег, — земля упруго пружинила под его сапогами, точно кочка на болоте.

Привязали лодку к кусту, полезли в камыши. Остров был плоский, как блин. Берег полого, почти незаметно поднимался от воды. При крепком ветре его наверняка затопляло волной.

Под ногой было топко и вязко. Земля сплошь заросла мягкой бархатно-зеленой травой, какая обычно вырастает над трясинной.

Неуютно и страшновато на острове. То и дело натыкаешься на коварные глазки — колодцы, в которые проглядывает морская вода. Нырять хоть до дна Арала! Видимо, грунт здесь держался на крепкой сетке корней, переплетенных между собой навечно, так, что и штормовой волне их не расплести.

Жапак повел рыбаков назад к лодке. Благословясь, закинули сети, а потом развели огонь и подвесили над ним кумган, с трудом собрав для костра хворост. Расположились за высокой стеной прибрежного камыша, — там почва была плотней и суше.

— Гиблое место, — шепнул Жапаку Уббинияз. — Не дай бог сильного ветра.

— Задует ветер, поднимем парус, — ответил Жапак и показал взглядом в сторону джигитов.

Те бродили по кустам, отыскивая сушняк, и недружелюбно покрикивали друг на друга:

— Эй, ахай! Эй, абыз...

Когда они подошли к костру, Уббинияз сказал:

— Вот что, Жуманазар. Вот что, Матнияз. Вы новички у нас, недавно в артели. Однако пора привыкать к нашим порядкам. Не нравится мне, как вы держитесь. У нас в артели так не полагается...

Жуманазар, черный, как уголь, юноша с рябоватым лицом, обиженно склонил голову.

— Разве мы не стараемся, отец?

— Не прикидывайся дурачком! У вас у обоих красивые имена, данные вам родителями, а вы окликаете друг дружку по имени рода... Чтоб я этого больше не слышал!

Джигиты насупились. Настроение у всех четверых было неважное, смутное. Жапак сорвал болотный цветок, и капля росы слезой скатилась с изумительно белого лепестка. Далеко вдаль неясно голубел муйнакский берег — старческие глаза Уббинияза его не различали.

Но к вечеру, когда стали выбирать из воды сеть, повесели все. Такого улова и во сне не снилось рыбакам на озерах! Небольшой невод набит рыбой битком, каменно тяжел, и его непросто вытащить на неверный топкий берег.

Ай да остров Кочующий! Вот тебе и гиблое место... Находка! Золотое дно.

Жапак послал Жуманазара отвести лодку подальше вдоль берега, чтоб она не мешалась. Расстелили брезент. И потянули невод с песней.

В сумерках осмотрелись. На брезенте копошилась гора рыбы! В одной лодке ее, пожалуй, и не вывезешь. Море поблескивало, точно чистое стекло. Ни морщинки. Решили заночевать на Кочующем. Попробовать, каков будет лов перед рассветом.

Подсушились у костра, за плотной стеной камыша, раздевшись чуть ли не догола.

— А комаров тут нет,— сказал Матнияз.

Жуманазар кольнул его острым сучком в голую спину, и меж ними завязалась веселая потасовка.

Нарубили камыша и улеглись на нем рядком. Костер чадил горьким черным дымом. Сыровато, конечно! Но на море смешно жаловаться на сырость.

К брезенту с рыбой слетались чайки. Пусть. Не жалко...

Ночью Жапак проснулся от странного чувства непопнятой, беспричинной тревоги. Он сел, оглядываясь, словно не узнавая места, где находился.

Костер погас. А моря было не слышно. Небо в звездах. Над камышами висел тонкий серп ущербной луны.

Жапак прилег опять, но уснуть не мог. Внезапно проснулся Уббинияз, вскрикнул со сна испуганно:

— Что? Что такое?

Они поднялись вместе и молча пошли в глубь острова. Пролезли сквозь одну полосу камыша, сквозь другую и... уперлись в воду. Море!

Впереди простирался широкий, в полверсты, пролив, а за ним вдали смутно угадывалась в слабом лунном свете черная узкая береговая лента острова Кочующего и ее отражение в тихой воде.

— Оторвало нас... Уносит! — проговорил Уббинияз, опасливо отступая подалее от воды по шаткому, хлюпающему берегу.— Правду, стало быть, рассказывали...

— Доберемся. Еще невод закинем,— ответил Жапак.

Они вернулись к костру, подняли джигитов и пошли к старому берегу, к которому пристали вчера. Рыба на брезенте была цела. Чайки улетели на ночлег. А лодки не было. Она исчезла.

Бросились вчетвером вдоль берега, обежали кругом несколько раз весь островок, обыскали, ощупали каждый прибрежный куст — и не нашли лодки. Не видно было ее и на воде.

Обманчива тишина в море. Жапак вспомнил, с каким трудом они выгребали у самого берега, подплывая к острову. Течение! Оно помогало им выбирать сеть, прибывая ее к берегу! Оно же увело лодку.

— Ты ее привязывал, ахай! — набросился Матнияз на Жуманазара.— Как ты ее привязывал?

— Обыкновенно. Замотал чалку за куст... Выволок ее на берег почти всю, до кормы!

— Эх ты, ахай, ахай... сопливый! — выругался Матнияз и сплюнул в воду.

Уббинияз сердито оттолкнул парня от берега.

— Ты что вытворяешь, малый! Плюнешь в море — оно тебе плюнет в глупое твое лицо! Башку расплющит одним плевком...—И старик суеверно зашептал:—Аллах, аллах!..

Жапак бросился бегом опять к тому берегу, с которого был виден Кочующий. А Матнияз с ходу принялся разуваться, собираясь пуститься на остров вплавь.

— Недалеко, братцы, рукой подать! Видно...

— Назад, дурень! — оборвал его Жапак. — Успеешь утонуть!

И в самом деле, ночью не разберешь, — может, до острова и полверсты, а может, полторы... А главное — течение. В десяти шагах от берега пронесет мимо.

— Ну, ничего, ничего, и похуже случалось, — проговорил Уббинияз, бодро покашливая, решив, что, поскольку он стар, его долг подбодрить молодых. — Нос повесишь — сморкаться неудобно! Есть под ногами земля — и ладно. Муйнак на виду. Глядишь, подобьет нас к Муйнаку. Подъедем, как на пароходе, сдадим рыбу Ивану-хромому с рук на руки.

— Брат председатель, — неуверенно начал Жуманазар, — а вы говорили, придет другая лодка за уловом...

Жапак коротко, с досадой качнул головой. Он наказал в правлении, если они задержатся на острове, выслать вторую лодку на рассвете. Куда их отнесет к тому времени?

— Брат председатель, надо бы разжечь побольше костер... — предложил Матнияз. — Тут день и ночь ходят лодки. Ни мы их не увидим, ни нас не заметят. А огонь — как далеко видно!

Жапак не ответил и ему. Разве на этом клочке зыбкой земли, на трясине разведешь большой костер? За дымом огня не заметишь.

— Идите за мной, — приказал Жапак. — И не соваться никуда без спросу!

Пошли за ним. На месте ночлега Матнияз поднял с земли кумган и с жадностью припал к нему губами. Но не успел сделать и глотка. Жапак вырвал кумган из его рук, крикнул яростно:

— Я что сказал?! Оглох?

И Матнияз, и Жуманазар, и старый Уббинияз с ужасом посмотрели на Жапака, думая о том, что им всем угрожало. Вода! Море воды кругом — и нечего пить. Каждая капля из кумгана теперь стоит, может быть, дня жизни.

— Беритесь за камыш, плетите корзины, — сказал Жапак спокойно, словно не замечая, как на него смотрели. — Окунем их в глазки, напустим туда живой рыбы. — И умолк, не договаривая.

Он думал в ту минуту не о еде, а о том, что придется, быть может, пить сок свежей рыбы. Он слышал от Аджинияза-старшего, что так спасались в море от жажды.

Стали плести корзины, и Жапак слышал, как Жуманазар пугающим шепотком рассказывал Матниязу, как один раз унесло в открытое море старуху с козой на утлой лодчонке и как эту старуху не потопило в бурю, а выбросило, протухшую, вместе с козой, на пески острова Барса-Кельмес, что значит: пойдешь — не вернешься...

— Отец Уббинияз, — спросил Матнияз, — так было?

— Мало ли, что бывало.

— И мы протухнем, как та старуха?

— А ты засмердел, парень, не доплыв до Барса-Кельмеса!

— Что ж, и слова сказать нельзя?

— Слово, сынок, любит свое место...

— А вот ты говорил, отец: «Чтоб я не слышал!» — вдруг с запалом вмешался Жуманазар. — А почему же тогда брат председатель Жапак покалечил Эльгельды-кыята?.. — Уббинияз опешил от неожиданности. — Что вы на него оглядываетесь? Я правду говорю! Может, за эту вину мы и гибнем сейчас, как слепые кутята, жизни не повидавши!

— Да я тебе уши сейчас натреплю, щенок, — без гнева, а скорее с удивленным проговорил старый Уббинияз.

И эта нелепая угроза возымела странное действие — Жуманазар умолк, схватился за голову и заплакал.

Утром люди на маленьком островке-пльвуне поняли, что его незаметно, но быстро уносит сильное течение прочь от берегов. Ни берега Кочующего, ни муйнакского берега уже не было видно даже в низком, прямом свете восходящего солнца. Тщетно Матнияз, Жуманазар и Жапак напрягали зрение, подсаживали друг друга на плечи.

— Ну что? — спрашивал Уббинияз то одного, то другого.

— Вода.

Кругом, на все стороны света, простиралось море, зелено-серое, неласковое. И казалось, что островок лежал на дне глубокого котла, одинокий, жалкий, а морские горизонты круто вздымались к небу, подобно сизым горным пещам.

В полдень с запада настойчиво задул свежий, ровный ветерок, как раз под лодочный парус. Сперва обрадовались ветру — он гнал волну против течения. Но островок задергался, закачался, как ковер, подчиняясь волне. Она стала слизывать с брезента рыбу. Вскоре рыбаки сами

свалили свой улов в воду, чтобы избавиться от лишнего груза, — волна топила под ними берег. И товарищи Жапака поняли, почему он опустил корзины с рыбой не у берега, а в глазки. Брезент оттащили за камышовую стенку, завернули в него сушняк и заодно угли и золу от вчерашнего костра.

К ночи ветер спал, небо затянуло облаками и заморосил благодатный дождь. Подставили ведро, развернули брезент. Закричали, запрыгали от радости, стали слизывать дождевую влагу с губ и рук, а когда дождь иссяк — с листьев и травы. Собрали все, что накопилось на брезенте, — лишь несколько глотков. К сожалению, немногим больше налилось и в ведро. Дождь прошел слабенький и недолгий. О, если бы ливень с грозой!..

И все-таки напились, освежились. Захотели есть. Уббинияз принялся жарить рыбу. Раздал то, что приготовил, и погрозил пальцем:

— Не ешьте много, дети... Не ешьте много... Не теряйте рассудка...

Следующий день выдался жарким и душным. На море парило. Нечем было дышать.

Жапак не выпускал кумгана из рук, опасаясь, что джигиты не выдержат, выпьют все, что в нем оставалось.

Матнияз посматривал на кумган сумасшедшими глазами. Он первый обессилел и слег. Его стало лихорадить.

С рассвета до заката люди не спускали глаз с моря. Оно было тихо и пустынно и по-прежнему громоздило над головами людей свои сизые, синие и голубые горизонты.

Матниязу постоянно мерещилась земля — то здесь, то там...

А ночью он вскочил и молча, с безумной стремительностью побежал к берегу, открыв сухой, пышущий болезненным жаром рот; парня пришлось силой оттащить от соленой воды. Она была горька и возбуждала судорожные позывы тошноты. Ее уже перепробовали все, тайком друг от друга.

Ослабел и свалился с пог Уббинияз. Он не жаловался, но в его глазах, когда он открывал их, светилась смертная мука. Старик задыхался.

На третий день, после того как их оторвало от Кочующего, на рассвете раздался дикий вопль Жумапазара. Парень смеялся и плакал, показывая в море. Вдали клубился легкий дымок. Шел буксирный катер. Шел прямо на их островок.

— Слава богу, слава богу... — беззвучно выговорил Уббинияз.

А Жуманазар принялся лихорадочно объяснять:

— Нашли нашу лодку... Узнали, догадались. Вышли за нами! Пока догнали... Не сразу отыщешь! Это ж не лужа, море...

Катер замедлил ход, приближаясь. На островок накатила поднятая им волна.

— Люди! Родные мои! Милые, спасители! — хрипло кричал Матнияз, поддерживаемый за плечи Жапаком. — Будь я навеки проклят, если теперь выйду в море... И будь она проклята — артель...

— Братцы... товарищи... — прошептал и Жапак затвердевшими, потрескавшимися губами и осекся.

Колючий озноб прокатился по его спине. Жапак увидел на носу катера знакомую долговязую фигуру, которую не сразу узнал издали. Прежде этот человек носил халат, теперь френч, и был перепоясан пулеметными лентами. На голове у него была черная фуражка с высокой тульей и белыми кантами.

А катер у самого берега снова стал набирать ход. Из его трубы повалил дым и окутал людей, стоявших на островке.

— Он не заметил! Не видит! — захрипел Матнияз. Жапак выпустил его из рук, и он, упав, забился в конвульсиях.

Катер удалялся, высоко подняв нос, — длинная волна от него еще раз накатила на берег островка, заплескав водой сапоги Жуманазара.

Жапак подошел к Уббиниязу и повалился на сырую траву рядом.

— Видели, отец? Это Эримбет...

— Разбойник... разбойник... — шептал Уббинияз.

ОН БЫЛ ДРУГОМ...

Пятые сутки женщины и дети урочища Чигиркудук выходили то группами, то в одиночку к берегу и с тоской смотрели в море. Пятые сутки нет в Чигиркудуке покоя и сна. Пятые сутки лодки возвращались из поисков ни с чем.

Ни днем, ни ночью не отходила от берега Гульзира, подобно верной рыбацкой жене. Все ее ласкали, носили ей

на берег еду. А она стояла у самой воды, под ветром, солнцем и дождем, и на щеках не просыхали слезы.

Сулув увела ее к себе в юрту, покормила ее, прижала к груди.

— Не плачь, Гульзира, ты уже большая. Вернется Жапак, повезет тебя в Муйнак, купит красивое платье с цветами миндаля...

— Тетя Сулув, вы сами сказали, что я уж не маленькая.

— Да.

— Зачем же вы меня обманываете?

Они вместе возвратились к морю, встали на берегу. Вечерело. Подошел Эльгельды, и Сулув сказала, не стеснясь девочки:

— Отец, жена Уббинияза надела траур.

— От того, что баба на себя наденет, земля не развернется.

— Ты думаешь, они живы?

— Раз ты ждешь, значит он живой!

Эльгельды шагнул к воде, беспокойно выпрямился и слегка повел головой, точно почувствовав в воздухе какой-то запах. Душный ветер с моря неслышно толкнул в грудь, крутнул пыль под ногами, завивая ее волчком. Эльгельды настороженно присмотрелся к тому, как полукружьями, серпами ложилась пыль, и обернулся в тревожном сомнении.

Верблюды столпились за юртами, под холмом, топтались и крутились на одном месте, толкая один другого. Они вытягивали к небу длинные шеи, скалили зубы. Эльгельды почесал бороду, зацокал языком.

— Что ты, отец? — спросила Сулув, касаясь его локтя. Он посмотрел с осуждением.

— А ты не чувствуешь, что ли? Эх, дочка! Голову потеряла, видеть-слышать разучилась? Глянь, что творится...

И, не дожидаясь ответа, быстро пошел прочь.

Прибежал к правлению артели, растолкал людей, теснившихся у входа, отыскал Степана. Тот сидел у стола, устало глядя перед собой. Лицо было серо, как земля, глаза ввалились от бессонных ночей.

— Сынок, очнись, — проговорил Эльгельды, не здороваясь. — Буря идет. Завтра на море быть буре!

— Может, и буря, — вяло ответил Степан. — Может, и завтра... — И застонал сквозь стиснутые зубы: — Штормяга катит крепкий!

— Что же ты сидишь сложа руки?
— Были бы крылья, полетел бы...
— Но ведь огненная лодка Ивана-хромого здесь, у нашего берега!

— Я только что вернулся на ней. Полтора суток гоняли. Только что вернулся...

— Сколько вы гоняли, мы знаем, — сердито перебил Эльгельды. — И когда ты вернулся, знаем. Надо опять выходить. Скорей выходить! Не мешкая!..

Степан вздохнул изнеможенно.

— Ночь на дворе, отец, ни черта не видно. И мотор перегрелся, едва тянет. Дай дух перевести огненной-то лодке... Из Муйнака вышли два катера. Перед рассветом и мы пойдем...

— Ну, тогда я сейчас выйду в море! — медленно и зло выговорил Эльгельды и вышел, хлопнув дверью.

Степан догнал его на берегу, обнял за плечи, с улыбкой заглядывая в лицо.

— Вы... Пойдете с нами, отец?

— Нечего тебе скалиться! Смешного мало... У меня с ним старые счеты, тебе известно. Бог должен навести меня на его след! Я давно бреду по его следу. Мне еще нужно с ним свидеться, сынок, пока я жив, пока кровь в жилах не остыла.

— Если так... с богом, отец! — сказал Степан.

«Огненная» лодка Ивана-хромого качалась на приборной волне. Это была добрая, крутобокая шлюпка со стареньким, выдавшим виды, но мощным мотором.

В предвиденье шторма пожилой русский моторист, не сходя с лодки ни на минуту, копался в моторе, ползал по ней, как муравей. Услышав, что придется отшвартовываться немедленно, он сказал спокойно:

— Так я и знал. Как в воду глядел... Бегите покличьте Каипназара!

— Каипназар едва дышит, друг. Бери свежих людей, — каждый пойдет, — сказал Степан.

— Товарищ Силаев, я с Каипназаром шесть лет кряду протрубил у Ивана-хромого. Мне лучше знать, как и чем он дышит. А с чужими людьми я в море, на ночь глядя, перед штормом не выйду.

Прибежал, прихрамывая, коренастый, плечистый Каипназар и замахал руками на Степана.

— Вам нельзя, братец Степан. Вы на ногах не стоите, на обе хромаете...

— Что ты, что ты, браток?! Подумай, что говоришь! — рассмеялся Степан.

Сбежался народ к лодке, но моторист уже крутил рукоятку мотора. Чихнув разок-другой для порядка, мотор застучал трудолюбиво, преданно, точно живое существо. Лодка пошла, плюясь из трубки с левого борта, вспенивая за кормой по-вечернему черную воду. Пошла, сердечная! Люди на берегу провожали ее молча, не шевелясь.

Мотор стучал ровно. Эльгельды зажег фонарь, сел на опалубленный нос шлюпки и сказал:

— На большой фарватер! По течению... к Алтыкудуку...

— Слушай его, — шепнул Степан мотористу.

— Кто он такой?

— Он знает... нашел дорогу...

— Как — нашел?

— Сердцем.

Моторист хмыкнул, косясь на Эльгельды.

— Колдун, что ли? У вас, товарищ Силаев, пока мы плавали, ум за разум забежал.

— Может, и забежал. Стало быть, там ему и место! Этому... колдуну... верю. Он ведет прямо на них.

Моторист поежился, с подозрением присматриваясь к Степану: шутит или всерьез? А тот сказал, загадочно подмигивая:

— Бога нет, браток. А человек есть! Вот и все наше с тобой колдовство... И что такое море, что такое шторм, коли есть человек!

Всю ночь шли напрямик, как заказал Эльгельды. Ветер свежел, но море лежало покойно. Лишь под утро внезапно ударил тяжелый шквал с проливным дождем и чуть не потопил лодку. С трудом отчерпались в восемь рук. И снова утихло, и мотор застучал привычно, надежно.

Когда рассвело, моторист спросил, глядя то на Степана, то на Эльгельды:

— Ну, дальше куда?

Эльгельды, не отвечая, неотрывно смотрел прямо, по острому носу шлюпки, бойко разрезавшему мелкую волну, и Степан ответил за него:

— Вперед, вперед, не сворачивай! Мы там не были...

Солнце стало припекать, когда спереди бесшумно накатила высокая, гладкая волна длиной от горизонта до горизонта и медленно, как бы нехотя, подняла шлюпку к

небу. Все, кроме Эльгельды, молча оглянулись на нее, когда она прошла, мягко опустив шлюпку, и покатила дальше, заслоняя собой дали.

Минуту спустя Каипназар сказал негромко:

— Если они там, куда мы идем, верно, вздыхают, бедняги, последние разочки... захлебываются...

Но никто не подумал в ту минуту: а мы не захлебнемся? Ни один в шлюпке не обмолвился благоразумно: пора назад, покуда не поздно!

И вот поднялась и закачалась, под ровный звонкий свист ветра, мертвая зыбь, крупная, крутая, черно-зеленая, с редкими седыми гребнями, бухающими, как пушки. Вот он, штормяга! Встретились!

Минул еще час, долгий, как день. Лодку швыряло, точно пробку, но мотор стучал, упрямо выгребая против ветра, и ни разу лодку не захлестнуло.

Держась за борт, Степан думал с отчаянным чувством, кусая посолоневшие от брызг губы: «В такую погоду ничего не увидишь. За валами — как за стеной».

И тут Эльгельды закричал с носа шлюпки:

— Дым! Гарью пахнет!

Все вскочили на ноги, держась друг за друга, но ни Степан, ни моторист, ни Каипназар не увидели дыма, не почувствовали запаха.

Эльгельды рассмеялся им в лицо. Он только начал ходить, а уж был пастухом, и нюх у него собачий!

— Смотрите, сыночки! Лучше смотрите! — с ликованием прокричал он сквозь шум бури. — Я не увижу, но чую — камыш горелый... чад от него... чад!

Степан, моторист и Каипназар осмотрелись раз, другой, третий... и вдруг вскрикнули все разом. Они искали слишком далеко, а между тем совсем рядом с ними прыгал вверх и вниз, с волны на волну, подобно их шлюпке, крошечный растрепанный островок-пльвун, и из него в нескольких местах фонтанчиками взметалась вода, сверкая на солнце.

Островок казался пустынным, людей на нем не было видно, но моторист уже разворачивал лодку, нацеливаясь подойти к нему с подветренной стороны.

— Ах, старик... Ну, колдун... — шептал моторист со счастливой улыбкой.

— Людей ищите, людей, — твердил Эльгельды.

— Вон они! Вижу... — радостно сказал Каипназар.

Все четверо лежали на расстеленном брезенте, не под-

нимая голов. Увидел и Степан и заорал благим матом, не помня себя:

— Жа-пак, чертушка, держись!

Однако причалить к островку оказалось непросто. Волной далеко отшвыривало лодку прочь, как только она приближалась к его мягкому хлипкому берегу. И моторист бранил ее в голос, наваливаясь на руль.

Люди на островке не двигались. Живы ли они?

— Веревку! — скомандовал моторист и кивнул Степану: — Вы как рыба... Давайте туда! Привяжите,— по ней перетащим...

Степан схватил конец веревки и прыгнул в воду. Каипназар принялся было привязывать другой конец к носу шлюпки,— моторист закричал на него, неистово ругаясь:

— Что делаешь! Хромой бугай! Захлестнет, всех утопишь! Держи обеими руками да потравливай!

Степану повезло. С первой попытки он зацепился за островок, прикрутил веревку к стволу раскидистого куста.

Качаясь, размахивая руками, точно шел по канату, Степан направился к людям, минуя провалы в размытом бурей грунте. Подхватил бесчувственного Уббинияза и поволок его, падая с ним и вновь поднимаясь.

Держась за веревку, Степан переправил старика в лодку. В воде Уббинияз очнулся и, когда его уложили на дно лодки, немо зашевелил губами. Эльгельды догадался, поднес к его рту горлышко бутылки с пресной водой.

— Кто это? — прохрипел Уббинияз, напившись.— Ты... брат? — И опять потерял сознание.

Степан вернулся по веревке назад и одного за другим перенес в лодку джигитов — Матнияза и Жуманазара. В них тоже еле теплилась жизнь.

Жапак был крепче других; он пришел в себя еще на острове и лежа следил за работой Степана, дожидаясь своей очереди. Но Степан выбился из сил. Как ни ловко он плавал, а нахлебался по уши...

Каипназар натер себе ладони до крови, то и дело травя веревку, сообразуясь с волной. Но делать было нечего, приходилось ждать, пока отдышится Степан.

Приняв новый груз, лодка стала лучше слушаться руля. Моторист выравнивал лодку, форсируя мотор, когда на островок накатил огромный вал, и пенный гребень его, словно споткнувшись, с гулом обрушился на жидкий клочок земли и захлестнул Жапака.

Чудом его не смыло! Шторм усиливался, на счету была

каждая минута. Степан поднялся на ноги, по-рыбьи от-
крывая рот. Но Эльгельды опередил его. Неожиданно для
всех старый пастух, не сказав ни слова, бесстрашно пере-
шагнул низкий борт лодки.

Обхватив ногами веревку, он поплыл на бок, гребя
единственной рукой. С него не спускали глаз. Он благопо-
лучно добрался до островка и поднялся на берег. Жапак
медленно полз ему навстречу.

Больно и весело было смотреть, как они поползли вме-
сте, а потом поплыли к шлюпке, окунаясь и отфыркивая-
ясь, и Жапак держался рукой за шею Эльгельды. Степан
и Каипназар вдвоем взялись за веревку, подтягивая их
к лодке.

Все бы обошлось хорошо, если бы не поднялся над ост-
ровком новый вал. Его гребень с гулом пронесся по ост-
ровку, подминая его под себя. Островок прикрыл собой
лодку от удара волны, но когда люди в шлюпке отплева-
лись от тяжелых брызг, они не увидели около веревки ни
Жапака, ни Эльгельды.

Жапак висел, уцепившись скрюченными судорогой
пальцами, за борт лодки. Его вытащили. А Эльгельды, ви-
димо, не хватило второй руки, чтобы ухватиться за лодку.
Его унесло.

— Отдай канат! Скорей! — приказал моторист и перес-
крестился.

Каипназар отпустил веревку. Островок тотчас исчез за
штормовой зыбью. Эльгельды искали долго — у островка
и по ветру.

— Где он? Где он? — хрипел Жапак, лежа на дно
лодки. — Не видят мои глаза...

«И мои не видят, — с содроганием думал Степан. — А
он, может быть, еще жив...»

Грозовая туча занавесила солнце. Сразу стало темно,
как поздним вечером. А потом дождь закрыл море белесой
стеной.

Матнияз бредил, метался в бреду. И моторист свирепо
кричал:

— Держи его! Черпанем бортом! Идолы безрукие.

Плыли остаток дня и всю ночь. Теперь ветер подгонял
их к берегу.

Уже на виду у Чигиркудука остановился мотор.

— Каюк, — сказал моторист. — Доконали.

Навстречу им вышли на веслах. Привели огненную
лодку на буксире.

На берегу ее ждали, стоя по колено в воде. Вынесли спасителей и спасенных на руках. Ни один из них не держался на ногах. Всех уложили рядом на прибрежном песке.

Сняв шапки по русскому обычаю, стояли вокруг рыбаки и думали горькую думу.

Гульзира сидела у изголовья Жапака, гладила его голову. Сулув опустилась перед ним на колени и прижалась к нему. И никто не считал, что это грешно.

Жапак, с натугой приподняв голову, сказал Сулув и всем остальным муйтенкульцам:

— Он был другом.

И тогда моторист, чужой человек, ругатель и грубиян, обычно ссорившийся с рыбаками из-за того, что они перегружали его лодку, выговорил с великой болью:

— Пропал колдун... Нету колдуна...— И уткнулся лицом в песок.

Женщины постарше, рыбацкие жены, незаметно подули и поплевали себе за ворот, отгоняя беса. Степан попросил закурить. Его табак вымок.

Ему свернули махорочную самокрутку, вложили в рот, поднесли огня. Он затынулся с хрипом и откинулся на спину, кусая губы.

Шумело море, грозное, недоброе, маслено-черное, как глаза у верблюда.

